АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛОРУССКОЙ ССР
Ордена Дружбы народов
Институт литературы имени Янки Купалы

АЛЕСЬ Адамович

Война и деревня в современной литературе

МИНСК
«НАУКА И ТЕХНИКА»
1982

Редактор
В. В. Гниломедов, кандидат филологических наук

Рецензенты:
С. А. Андреюк, кандидат филологических иаук,
Д. Я. Бугаев, кандидат филологических наук

Адамович А.

Война и деревня в современной литературе.— Мн.: Наука и техника, 1982 — 199 с.

Общепризнано, что наиболее значительные нравственные проблемы решаются сегодня в «военной» и «деревенской» прозе. В ней имеются и наибольшие эстетические достижения. Подтверждается истина, которой всегда руководствовалась великая классическая литература: лишь глубоко пережитое вместе со своим народом питает нравственную и эстетическую мошь литературы.

В книге на материале произведений современных русских и белорусских писателей С. Залыгина, В. Астафьева, В. Распутина, И. Мележа, Я. Брыля, В. Быкова, И. Чигринова, В. Козько и других с привлечением классической литературы и прежде всего Толстого. Достоевского, Горецкого, Чорного анализируются, оцениваются пути развития современной литературы.

Рассчитана на специалистов-литературоведов и преподавателей вузов, а также на широкую читающую публику, слушателей народных университетов культуры, студентов, учащихся.

УРОКИ ТОЛСТОГО И ПУТИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Белорусская литература — новая, заново возродившаяся в XIX веке — была одной из самых «крестьянских» в среде славянских литератур. Она уже существовала, эта литература на «мужичьем» языке,— в творчестве Дунина-Марцинкевича, Богушевича, а в начале XX века — в стихах, поэмах, драмах Купалы, Коласа, Богдановича, существовала, заявила о себе ярко, мощно и тем не менее снова и снова отыскивала аргументы в защиту своего права быть, такие вот щемяще-простенькие и горькие: «А беларусы нікога ж не маюць, няхай жа хоць будзе Янка Купала». Свое право быть, право на развитие литературы на белорусском («мужичьем», как тогда понималось очень многими!) языке было и темой, большой, постоянной, и пафосом многих и многих произведений и выступлений белорусских художников слова. Богушевичу приходилось разъяснять самое, изначальное: что язык белорусский ничем не хуже всех других, что белорус — это белорус, как поляк — это поляк, а англичанин — англичанин...

И в XX веке белорусские писатели все еще вынуждены были убеждать в этом — других да и самих белорусов... Но главный путь и способ самоутверждения литературы на «мужичьем» языке — ее эстетическое развитие, эстетическое оснащение, в ходе этого развития. Декларации мало значили бы, если бы сама практика художественная не показывала, не убеждала: да, на этом языке можно выразить всё богатство мыслей, чувств, могут быть созданы, создаются шедевры, нужные всем.

Утверждение своего права и правоты своего дела — создание литературы на белорусском языке — включало, таким образом, предполагало оба качества: Изначальную народность белорусского художественного слова (литература народная и для народа) и в то же время — неотступное и жадное стремление овладеть, обладать всем, чем располагают другие, развитые литературы.

Такая двуединость внутреннего чувства, состояния белорусской литературы определили и характер воздействия на нее Льва Толстого, его идей и творчества.

Воздействие это было особенно сильным, неотступным, плодотворным и желаемым не только благодаря мощи художественного слова великого писателя земли русской, но и потому, что в Толстом, в самих исканиях, противоречиях его присутствовало в наивысшем проявлении то, что было так близко, и понятно, и необходимо

литературе на «мужичьем» языке. Великий защитник стомиллионного крестьянства России был защитником и крестьянства белорусского. Таким он виделся из Белоруссии. Своим виделся, родным. Когда Лев Толстой умер, сидевший «за революцию» в тюрьме белорусский поэт Якуб Колас так излил скорбь — свою и угнетенного, борющегося народа белорусского:

...Ты сышоў з жыцця дарогі,—
І ноч больш цямнее,
Тое царства цьмы, няпраўды,
Што над намі вее,
Тая ночка зла, з каторым
Ваяваў ты, родны!
Ты сышоў з жыцця дарогі,
Слаўны і свабодны.
Ты сышоў з жыцця дарогі,
Але ўсё ж душою
З намі будзеш, вечна будзеш
Зваць на бой нас з цьмою.[1]

«Исход» Толстого, завершившийся смертью на станции Астапово на виду у потрясенного мира, человечества, белорус, белорусский поэт воспринял как уход сказочного богатыря и защитника, который хотя и «сошел с дороги жизни», удалился, но не оставит «свой народ», народ крестьянский, простой рабочий народ, навеки останется его защитником и «вечно будет звать на бой с черным злом».

А это пронзительное «родны» (родной), из души народной, крестьянской вырвавшееся!..

Признанный защитник простого рабочего человека, Лев Толстой из Белоруссии виделся также защитником права белоруса на народный свой язык, свою культуру, какой бы «простецкой» и «мужичьей» она ни казалась «просвещенному читателю». Более того, высший авторитет в литературном деле — автор «Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресения» в годы, когда писали белорусы Купала, Колас, Богданович, самую непритязательную литературу, близкую, понятную крестьянину, как раз и считал единственно «настоящей», считал, что только ее и «не стыдно» писать, что только она и останется. Если у самого Толстого и было противопоставление одного другому: слова «художественного» (включая его главные романы) и «народного» (его «народные рассказы»), то белорусская литература, конечно же, такого противопоставления себе позволить не могла. Такого разделения. Для

---

[1] Колас Я. Памяці Л. М. Талстога,— Зб. тв. У 14-ці т. Мн., 1972. Т. 1, с. 227.

нее, утверждавшей себя на путях всестороннего развития, необходимы были в одинаковой степени и «народные» и «художественные» шедевры Толстого, драгоценен был в одинаковой мере и опыт его романов и его авторитетное слово в поддержку «крестьянской» литературы, народной простоты и бесхитростности в литературе.

Когда Купала скромно писал: «А белорусы никого не имеют», он (так же как и многие другие авторы произведений на белорусском языке) так или иначе, но ощущал, помнил, что ходит по русской земле величайший писатель мира, благоелавляя и яростно, всем своим авторитетом, защищая крестьянскую правду, крестьянскую речь, литературу для простого работника. В унисон толстовскому «Собственность — это кража!» звучала и «мужичья» речь Купалы, Коласа, как бы самого народа подтверждающее и грозное слово:

А не грошы ж твае
Там у банку ляжаць?
Не за грошы ж твае
Цар ідзе ваяваць?
Не за грошы ж твае
Цар палац свой зрабіў?
Не за грошы ж твае
Ён чыноў насадзіў?
Дык прасніся хутчэй,
Беларускі мужык!..[1]

Не потерять простоту, жизненную связь с языком и душой народа и приобрести то, чего не имеешь, что хранят сокровищницы мировой культуры,— этим чувством, стремлением определялась художественная практика классиков белорусской литературы. «Непростительно было бы ничего не взять из того, что сотни народов через тысячи лет собирали в сокровищницу мировой культуры,— писал Максим Богданович в те же первые годы XX столетия.— Но копить только чужое, не развивая своего,— это еще хуже: это значит уродовать народную душу»[2].

---

[1] Купала Я. Зб. тв. У 7-мі т.—Мн., 1972. Т. 1, с. 82—83.

[2] Багдановіч М. Зб. тв. У 2-х т.—Мн., 1968. Т. 2, с. 171. Интересно вот что: когда белорусская литература, культура белорусского народа в условиях панской Польши снова оказалась в положении пренебрегаемой и теснимой — а это были уже 20-е и 30-е годы,— она, имея за спиной Купалу, Коласа, Богдановича, а также пример новой, советской литературы на востоке белорусских земель, тем не менее испытывала такую же, как и в самом начале XX века, потребность опереться на авторитет, на пример и слово Толстого, отстаивая свой язык, свое право быть, развиваться. И снова— та же опора в равной степени на «художественное» и на «народное», «крестьянское» в наследии Толстого. «Льва Николаевича какое-то время воспринимал без оговорок, всего — с непротивлением и вегетарианством»,— вспоминает Янка Брыль, который начинал свой творческий путь в Западной Белоруссии. То, «толстовское», светится в его «Марыле», «Злодеях», в прекрасных зарисовках, сценах народной жизни, которые у раннего Янки Брыля пронизаны особым чувством уверенности, что правда, чистота, свет, нравственность там, где народ. Это, преобразившись, перешло и в его рассказы, повести, романы более поздние.

Так что же из толстовского «художественного» стремилась усвоить молодая белорусская проза — и прежде всего «военная»? В чем испытывала недостаток, к чему стремилась, шла?

* * *

Толстовский инструмент исследования человеческой души, ее «диалектики» унёс с собой в окопы первой мировой войны замечательный белорусский прозаик Максим Горецкий. Уйдя на войну, в окопы не с «жезлом маршала в солдатском ранце», а с «Толстым» (в душе, в памяти), молодой писатель вернулся домой с величайшим трофеем — он принес с войны правду. Беспощадную правду о войне, о человеке...

Повесть, которая стоит в ряду самых жестоких и ярких европейских книг о первой мировой войне,— «На империалистической войне» Горецкого — родилась не «под пером» литератора, а «под карандашом» батарейного телефониста: он под огнем выкрикивал, передавал команды: «Тротиловой гранатой! беглый огонь...», записывал расходы боеприпасов, а затем тут же набрасывал: «Немного утихло. Когда это пишу, выпущено уже 807 шрапнелей и 408 гранат...»

«7 часов. Начался страшный бой. Выйдем ли живыми?»

«Ведут и несут раненых немцев и наших.

...Что было вчера? Я жив, но прежнего меня нет навсегда».

«Записываю команду и в перерывах (во втором орудии задержка: гильза не выбрасывается) поспеваю записывать в свою записную книжку...»

Тем же карандашом, тут же или через день-два — пронзительные строчки о состоянии человека, который убивает и которого убивают: «Ко мне подполз бледный до синевы, с мукой в очах, наш старшин телефонист и попросил, чтобы я его завел на перевязочный пункт. Я оставил свою писанину («Зачем теперь писать?» — подумал я) и с большим трудом повел его вдоль речки, не находя переправы... В другой стороне мы увидели, что едет госпитальный фургон, и напрямик направились туда, по полю. К нашему счастью, фургон остановился. На нем колыхалось на палке полотнище с красным крестом, и я, наслышанный о международных законах войны, с облегчением подумал, что тут уже нас не обстреляют. Мы не дошли сажень с полсотню до фургона, как рядом с ним бухнул и оглушительно разорвался «чемодан», подняв гору земли высотой с добрую хату, и обволок все черным вонючим дымом. Зазвенели, загудели осколки. Один конь завалился и задергал ногами, другой взвился на дыбы. Нам нужно было бы тут же залечь, а мы пер-

лись изо всех сил к фургону, словно спасение было в нем... Тут же выскочили из фургона санитары, без всякой жалости схватили сомлевшего старшего и швырнули его в фургон... Возница отрезал ремни на убитой лошади, сел верхом на другую, задергал руками и ногами — и огромный фургон с одной лошадью умчался от меня по полю. А я взглянул вслед и побежал назад — сколько сил было...» (Здесь и дальше перевод наш.— А. А.).

Когда читаешь эту дневниковую повесть, «записанную» прямо на фронте и доработанную, напечатанную Максимом Горецким уже в советское время (в 20-е годы), вспоминаешь Василя Быкова и все то, что появилось в советской, в белорусской литературе намного позже (в 60-70-е годы) и появилось как бы заново — из того же истока, но заново.

Из какого это «истока»?

Ну, прежде всего — это литература пережитого, своими глазами увиденного, услышанного, своей солдатской шкурой испытанного.

Это так.

Но здесь не весь ответ и не все объяснение. Не весь «исток».

Можно ощутить правду еще как остро, пережить что-то ошеломившее, а рассказать потом так, как Николай Ростов про свою первую атаку, гусарскую, «геройскую», разумеется. Не мог же молодой гусар так вот просто и признаться, что было совсем-совсем не так, как обычно рассказывают. Ему недостало в тот момент другого, самого, оказывается, нелегкого мужества — морального.

Но для солдата в конечном счете главное, как он воюет, а не как рассказывает.

Хуже, когда такое случается с литературой, с писателем. Скольким, даже тем, кому хватало фронтовой, партизанской храбрости под огнем, потом недоставало смелости, правдивости литературной.

Но и здесь есть рубеж, до которого и после которого — разная степень «нравственной вины». Рубеж этот — Лев Толстой, его военная правда, человеческая правда.

Действительно, партизанские, военные записки Дениса Давыдова — героя 1812 года мы читаем, воспринимаем как «дотолстовские», и поэтому наша мера требовательности к правдивости, искренности, «психологизму» совсем иная, чем к произведениям о первой и второй мировых войнах.

Максим Горецкий, вся литература о первой мировой войне, что обозначена именами Барбюса, Арнольда Цвейга, Олдингтона, Ремарка, Хемингуэя, Лебеденко («Тяжелый дивизион») и других, литература,

создатели которой до того, как попали в окопы и на боевые позиции, уже пережили Аустерлиц, Бородино, Севастопольскую оборону...

Ибо уже был Лев Толстой.

Левон Задума (герой повести Максима Горецкого), когда попал в армию, при встрене с командиром вежливо поприветствовал: «Здравствуйте!» Пришлось перед специальным столбом, врытым посреди двора, учиться «отдавать честь».

Классический «новичок» — в армии, на войне!

«Пули засыпают наш домик. Веток на деревьях почти не осталось. Командир только крестится после каждой команды. Батарея бьет и бьет беспрестанно. Я боюсь... Перебегают пехотинцы. «На вышки!» — грозно рявкнул на меня командир, и всё он крестится. Снова вползаю на верхотуру, как загипнотизированный: смерть так смерть, только бы так не мучиться! О нет! нет! Жить хочу! Господи, помилуй мя, грешного! — и хочется креститься, как командир, но остатки разума остуживают. А пехотинцам ведь в сто раз хуже...»

Да, Задума-Горецкий («На империалистической войне» — вещь дневниково-автобиографическая) не очень подготовлен был к военной службе, когда попал на фронт. Действительно, классический новичок. При всем том новичок этот удивительно много знает про войну, про самого себя на войне — словно он когда-то уже побывал и под обстрелом, и так вот боялся, пугался, и так вот стыдился своего страха...

Не знает, не испытал еще ничего — все впервые. И одновременно как бы вспоминает, что такое, вот это уже было когда-то с ним, происходило, как раз так и было, так и должны вести себя люди перед лицом смерти...

«Я направился работать в канцелярию, за километр отсюда, и по дороге, осенней, пустынной, думал: если бы вот сейчас летел снаряд и оторвал бы мне палец на левой руке — чертил бы правой и показал бы рану, только закончив порученную мне командиром работу. Пусть бы знали, какой я... Разумеется, я тут же ругал себя за подобные мысли и дивился, отчего такая глупость лезет в голову: или под влиянием читанной мной раньше русской литературы, или еще почему-то...»

Нет, не потому в голове у молодого солдата геройские юношеские мечтания, что русских баталистов начитался. А потому, что молодой. А вот то, что сразу же ловит себя на «глупостях», что смотрит на себя как бы со стороны, как на старого знакомого,— это как раз от чтения книг и прежде всего Толстого.

И наивный, как толстовский Володя Козельцев или Петя Ростов, и одновременно способен эту свою наивность осознавать — такой он, герой-повествователь Максима Горецкого.

А уж чужую наивность заметит сразу! Будто давнего своего знакомого встречает автор-повествователь молодого, новенького, всего с иголочки подпоручика Сизова.

И снова то же характерное «узнавание» впервые увиденного...

«Дитя Сизов... Рассказывает солдатам о своей домашней жизни (он — единственный сын старенького отставного пехотного капитана), говорит, откуда родом, как учился, как любит Россию и народ и что готов за них умереть... .Солдаты любят его, но некоторые втихоря посмеиваются. «Пенсию буду посылать домой,— признается он,— а то вдруг убьют, так санитары с мертвого возьмут». У него выползла беленькая (т. е. вошь) из-под перчатки — покраснел, как мак».

А затем — почти неизбежное, потому что именно таких война забирает первыми:

«Широко раскрытые мертвые глаза, искривленный рот, посиневшие щеки, на которых у мертвого уже выросла щетина, пробитый череп — все это под платочком. А дальше — стройный, как девушка, как живой, только ноги торчат одубевшие».

Не только в спокойные минуты, когда мысли, чувства легко могут забрести в литературу, в чужое произведение, но и во время боя, когда они оглушительно вырываются из самой глубины и падают на самое дно, многие ощущения батарейного телефониста Задумы-Горецкого неожиданно окрашены литературой, Толстым. Не в том смысле, что из книг, «из Толстого» — те или иные сцены, детали, переживания. А что психологические самонаблюдения Толстого помогают именно на этом задержать внимание, это подметить в людях, в себе, отметить, не пропустить, как мелочь, как что-то ненастоящее...

«Артиллеристы расторопно подкапывают хоботы (задние концы орудий), чтобы стволы еще выше смотрели вверх. Работа срочная, но находят время шутить, спорят, смеются и виртуозно матерятся, я уже свыкся с их матерщиной: Беленький уломал-таки меня «наплевать...» Стало тихо перед очередным залпом, и я приподнялся, чтобы ползти, а затем пошел, волоча ногу и опираясь, помогая с одной стороны шашкой, а с другой карабином. Был рад, что не убило и что ра'нен, поеду с фронта, но мучился и корчился, неизвестно почему, больше, чем нужно,— боялся, чтобы все-таки не убило, не подпортило счастье, поэтому нарочно демонстрировал свое ранение неизвестно кому, что вот, смотри, не трогай больше меня».

Толстой, толстовская правда о войне и о человеке на войне сделали то, что на мировую бойню 1914-1918 гг. литература «попала» уже подготовленной, с опытом, умением смотреть на все без романтических очков, открытыми глазами. Остальное сделали сама война,

ее кровь, жестокость, грязь, глобальное озверение и ужас перед бессмыслицей происходящего.

«Значок, которым отмечают настоящих героев»,—сказано было, когда раздавали георгиевские кресты. А тем временем...

Мы, телефонисты, получили их за тот бой, когда совсем не по-геройски препирались: «Ты иди соединять провод!» — «А сам?» — «А ты?» — «А очередь чья?» — «А я старший: должен подчиняться».

Так в чем же истинное геройство и много ли под этими крестами героев? Или я, может быть, неверно понимаю слово «геройство?» На нынешней войне — все герои или, лучше сказать, нет героев, а есть более или менее дисциплинированный скот».

Так видится автору записок эта война — чуждая, непонятная солдату, а Горецкому-Задуме, белорусу, еще и потому особенно, «дважды» чужая и чуждая, что он представитель угнетенной нации.

«Все это теперь погибнет, когда погибну, возможно, и я сам... во славу... чего? Освобождение «малых» народов? А освободится ли мой народ, что даст ему эта война?»

Уйдя на войну, в окопы с Толстым в душе, в памяти, с опытом, «жезлом» большой литературы в «солдатском ранце», с серьезными мыслями и заботами о «возрождении» родной земли и литературы, совсем молодой еще писатель и человек сумел увидеть войну, записать ее рукою неожиданно зрелого и серьезного художника.

Свидетельствуют об этом и «военные» рассказы Максима Горецкого 20-х годов — «Литовский хуторок», «Генерал», «На этапе», «Русский»...

В каждом из них, за каждым — трезвый, «наивно» народный, проникающий в самую суть явлений, слов, понятий взгляд на войну, срывающий «все и всяческие маски», беспощадный...

До Толстого такой «войны» в литературе не было.

* * *

Уже говорилось, что наше время все больше ставит вопрос о совмещенном воздействии Толстого — Достоевского на литературу вообще, а на «военную» — в особенности. «Параллельные» пути сверхгениев если не сошлись, то значительно сблизились во времени. И главное, что их сближает в нашем восприятии,— сопряжение человека и человечества в единой тревожной, огромной мысли: как человеку жить с людьми, по каким законам добра и зла, что обещает гибель, а что — спасение? Слишком многое обострилось (и многое прояснилось) из того, что и Толстой, и Достоевский — каждый своим путем — обнаружили в мире и в человеке. Обнаружилось и сошлось в

нашем времени столько и такое, что нам уже мало одного Толстого или одного Достоевского.

Это если о сегодняшнем их воздействии на литературу. Но, конечно же, современные военные писатели не одинаково «расположены» по отношению к «двуглавому Эльбрусу»: одни «со стороны» Толстого, другие «со стороны» Достоевского. Разумеется, и те и другие способны перемещаться, как, например, Василь Быков, который, начиная с «Сотникова», все ближе к опыту и проблемам именно Достоевского.

В произведениях Толстого и Достоевского — на вершине мировой литературы — совершился гениальный «взрыв», с которого началось то ускорение в самопознании человека, которое сравнить можно разве что с ускорением естественно-научного познания в XX веке.

Процессы, которые в белорусской литературе 20-30-х годов имели место, соответствовали многому из того, что характерно было и для всей советской литературы. Но было и свое, отличительное, поскольку в молодой белорусской литературе происходил процесс изначального накопления качеств зрелой литературы. Например, вырабатывались качества, чертил современной прозы, начало которой положили в XIX веке рассказы Ф. Богушевича, а затем в XX — Я. Коласа, М. Горецкого, Зм. Бядулю. Лишь в XX веке проза становится равноценным поэзии видом и жанром новой белорусской литературы. И вот тут сразу же встала задача — выйти к современным формам, качествам зрелой, развитой прозы. Задача психологического ее обогащения. А это в 20-е годы напрямую ассоциировалось с учебой у классиков — Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, Бальзака.

После Горецкого, Коласа (и вместе с ними) задачу эту наиболее полно, осознанно, последовательно реализовал в своем творчестве выдающийся белорусский прозаик, романист Кузьма Чорный.

Произведения М. Горецкого о войне, как мы уже показывали, выводили белорусскую прозу к очень зрелой психологической традиции, восходящей к Толстому. Нужно было закрепиться на этой традиции, на «толстовском шаге», рубеже широким фронтом — создать собственную романную форму. Кузьма Чорный сделал особенно много в этом направлении. И особенно много дал ему опыт русской классики — Толстой, Достоевский, Чехов, Горький.

Этот писатель весь вырастал из самой жизни белорусского крестьянства, народа, он необычайно органичен, может быть, самый «белорусский» и самый «крестьянский» в белорусской прозе. И вместе с тем как никто другой он сознавал: чем выше поднимается литература

к мировой традиции, тем увереннее она проникает в глубины национальной, народной жизни. От импрессионистски-поэтической прозы к прозе аналитической, эпической — таков путь становления, развития К. Чорного-романиста, автора «бальзаковского» по замыслу цикла романов и повестей. Он ставил своей целью создать философско-историческую картину жизни белорусского народа со времен крепостничества «до наших дней» («Сестра», «Земля», «Левон Бушмар», «Отчизна», «Третье поколение», «Люба Лукьянская», «Поиски будущего», «Млечный Путь» и др.).

Особенность психологической манеры К. Чорного, которую он вырабатывал, не в ее похожести на кого-то и на что-то. И Достоевский, и Толстой учили, научили его одному: ценить выше всего правду и точность психологического рисунка. Какой бы сложной, непривычной, и даже шокирующей, правда эта ни показалась...

Для К. Чорного главное — любой ценой передать не только мысли человека, его переживания, чувства, но и сам процесс их рождения, движения, их незавершенность, «текучесть», переходность, неуловимость. Мы подчеркиваем — любой ценой, ибо прозрачность стиля (столь характерная для М. Горецкого и Я. Коласа) для К. Чорного (особенно раннего) все же не то, ради чего можно поступиться хотя бы одним, пусть самым незначительным, оттенком человеческого переживания.

Но ведь даже и такой великий стилист, как Лев Толстой, мог сколько угодно «злоупотреблять» своими «что... что», «который... который», чтобы только передать каждый оттенок, «изгиб» своей мысли. Не говоря о Достоевском, стиль которого такой же порывистый, как и сами герои его романов.

Рассказать о жизни, о человеке для Чорного — обязательно понять больше, чем понимал до начала повествования. Не просто: «Я вот знаю и расскажу», а скорее: «Рассказываю потому, что хочу сам больше узнать об этом человеке, об этом явлении, увидеть, что за таким фактом, за таким ощущением...»

При этом писатель открывает для себя и для читателя не только глубины человеческой психологии, но и глубины жизни вообще. Что такое жизнь, если есть смерть? Об этом чудесный рассказ «Буланый», который хочется назвать «белорусским «Холстомером»,— откровенное творческое «соперничество» молодого прозаика с «самим» Толстым. Что такое человек, какой он рядом со смертью? Об этом — в рассказе «Ночь у дороги».

Все, что есть, бывает, что открывается беспощадному взгляду психолога-реалиста, окрашено у К. Чорного народной, у народа поче-

рпнутой, «природной» верой в человека и его будущее на этой трудной планете.

Даже увидев практическую возможность фашистского «потемнения» целых континентов, К. Чорный по-прежнему ищет в человеке человека. И находит. С особенной жадностью, страстью ищет, находит, утверждает. В одном из последних романов, написанном в годы войны, незадолго до смерти своей, уже познав, увидев, что такое человек, когда он делается фашистом, Кузьма Чорный тем не менее горячо убеждал — устами белорусского крестьянина:

«Веришь ли ты, что человек не выдержит, чтобы вечно быть зверем? Вырви ты из человека сердце и вставь на его место звериное, так в человеческой груди и звериное станет человеческим».

В произведениях белорусского прозаика К. Чорного война (уже вторая мировая, Великая Отечественная) психологически окрашена не в столь «толстовские» тона, как это мы наблюдали у М. Горецкого. Краски эти, тона скорее «Достоевские» — в интересном сочетании с традиционно «толстовскими».

Мы тут сознательно огрубляем проблему традиций, называя их слишком уж определенно — «толстовские», «достоевские», хотя, конечно же, ни о каком школярстве, ученичестве речь не идет.

К этому времени К. Чорный вырос уже в большого художника с сильным талантом, великого первооткрывателя мощного пласта народной жизни, который если и обращался к литературным истокам, а тем более «реминисценциям», то по принципу, когда-то сформулированному Достоевским: «Вот он (кто он, осталось неизвестным.— Н. В.) ставит мне в вину, что я эксплуатирую великие идеи мировых гениев. Чем это плохо? Чем плохо сочувствие к великому прошлому человечества? Нет, государи мои, настоящий писатель — не корова, которая пережевывает травяную жвачку повседневности, а тигр, пожирающий и корову и то, что она поглотила»[1].

Романы К, Чорного «Млечный Путь», «Поиски будущего», «Великий день» писались в годы, когда фашизм создавал реальную угрозу, что силы мракобесия и жестокости надолго воцарятся в мире и в душе человеческой. Писатель-гуманист сознательно обращался к голосу, слову великой гуманистической традиции: ведь наступила пора защищать основы основ человеческой культуры.

«Ибо пришла пора самого важного, действительно теперь единственного, от чего зависит все остальное»,— писал в годы войны К. Чорный.

---

[1] Вильмонт Н. Великие спутники,—М., 1966, с. 9.

* * *

Заметьте: никого столь охотно не называют своим наставником писатели любых масштабов (даже те, кто болезненно утверждает свою полную от всех «независимость»), как Толстого.

Потому что великий, что «Лев», и лестно? Пожалуй, не только поэтому. А и потому еще, что воздействие, влияние Толстого особенное, даже самые явные следы его не обидны и для очень самолюбивого таланта.

Толстой (как и Пушкин) вошел в наше сознание памятью о нашем собственном детстве, отрочестве, юности и о том состоянии, когда мы начали видеть себя со стороны, т. е. как часть нас самих.

Не станем говорить за всех. Но для тех, для кого русский был языком раннего чтения, произведения Толстого (для очень и очень многих) связаны с новым узнаванием самого себя. Связаны с чудом из чудес, которое каждый обнаруживает, открывает на каком-то году жизни, которое нас радует и мучит, которое от нас не отстает и которое мы не оставляем в покое, как полученную в подарок новенькую трубку калейдоскопа или чудесную машинку, которую не устаем снова и снова запускать,— я имею в виду рефлексию. Да, ту самую, не раз нами и не нами атакованную, существующую и в положительном, и в отрицательном значениях, проявлениях, но для человека обязательную. С нее ведь и начинается современный человек, т. е. осознавшая себя, свое существование природа, материя. Отнимите от нас способность видеть себя со стороны, мысль свою «видеть», и мы уже не мы. Разбуженная рукой (трудом) и речью (общение с себе подобными) способность эта переливается в новые и новые поколения человека разумного и все дальше и дальше влечет, увлекает человека, человечество, увлекаемая собственным непрерывным, лишь смертью прерываемым действием. Куда влечет? Да туда, куда мы уже вышли, и дальше.

Говорят, что особь взрослением своим повторяет весь путь рода или вида. А для рода человеческого и для индивида это важнейший этап: обнаружившаяся способность видеть себя, свои мысли, чувства как бы со стороны. О чем я сейчас думаю? О том, что мы — осознавшая свое бытие материя. А сейчас? Думаю о мысли: мы — осознавшая и т. д. А сейчас: думаю о мысли, в которой заключена мысль о той мысли, что... Помните, как поражался, играл этой вдруг обнаружившейся в нем многослойной «матрешкой» мальчик в «Отрочестве» Толстого? А не помните, как подобные места из его произведений заставляли нас мысленно ахать: как это верно — я тоже! И во мне и со мной такое происходит! И мне тоже кажется, что вот это уже было в

моей жизни, хотя и не могу сказать, когда: я уже стоял вот здесь, и видел это, и говорил. Вроде бы я уже когда-то был, жил!..

Что, без Толстого «машинка» эта сама не запустилась бы, не заработала бы? Конечно, запустилась бы, но, может быть, чуть позже и не на таких оборотах. А главное,, нам-то кажется, помнится, что именно в его произведениях мы вычитали себя вот таких, осознали эту свою способность, что все и началось с того внутреннего аханья: так и во мне же это есть, бывает! Как в Николеньке Иртеньеве, в Володе Козельцеве, в Пете Ростове, в Николае Ростове, в Безухове, в Наташе!.. Да, и с Наташи «это» начиналось, с удивления перед тем, как чудесно Толстой подсмотрел за ними, за людьми. Переполненная собой, любовью, тревогой, тоской, всем, что в ней происходит, Наташа взад и вперед расхаживает по залу в своем старом платье, «которое ей было особенно известно за доставляемую им по утрам веселость», прислушивается к своим шагам по звучному паркету и посматривает на себя в зеркало: «Вот она я!... Хороша, молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое...» Видит и слышит себя в гулком пространстве комнаты, а в ней самой такое же гулкое, эхом отзывающееся пространство, уводящее в радостную и тревожную даль и глубь...

Память уходит в юность, в отрочество и отыскивает там Толстого, и кажется, что даже в детстве — там, где Толстой не был еще прочитан, даже там он присутствует: его детство, отрочество, юность накладываются на наши... А затем мы были на войне, но и ее воспринимали так, а не иначе потому, что уже побывали на его войне (и Крымской, и 1812 года), уже врезалось в наше сознание (и глубже) так много. Вот это, такое, им впервые подмеченное, названное, проясненное — о человеке на войне:

«Между эскадроном и неприятелями уже никого не было, кроме мелких разъездов... Один шаг за эту черту, напоминающую черту, отделяющую живых от мертвых, и — неизвестность, страдания и смерть... и страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее; и знаешь, что рано или поздно придется перейти ее и узнать, что там, по ту сторону смерти... И на всех лицах узнавал он то чувство оживления, которое было в его сердце. «Началось! Вот оно! Страшно и весело!» — говорило лицо каждого солдата и офицера».

«Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел.

«Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются»,— подумал он и упал на спину».

«Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что-то. Пьер инстинктивно, обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за горло...

Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен или он взят в плен мною?» — думал каждый из них.

«Наташу, Наташу!.. — кричала графиня.— Неправда, неправда... Он лжет... Наташу! — кричала она, отталкивая от себя окружающих. — Подите прочь все, неправда! Убили!., ха-ха-ха-ха!.. неправда!

Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней..

— Маменька!., голубчик!.. Я тут, друг мой. Маменька,— шептала она ей, не замолкая ни на секунду...— Друг мой, маменька,— повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя.

И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия».

Многое из того, что мы встретили на нашей войне, и еще больше — что обнаружили там в себе, мы с удивлением не просто познавали, а как бы узнавали. Впервые испытываемое мы воспринимали как что-то нам уже известное. Казалось бы, хватало собственных переживаний, впечатлений, мук и радостей на этой, на самой тяжелой из всех войн — и без Толстого хватало. Но ведь и тем, кто в Европе, в Америке до наполеоновских войн и после них воевал, тем тоже своего опыта хватало. Но хлынул он освобожденно в литературу, открываясь всем, лишь после романов и повестей Толстого. Не будь и у нас за спиной Толстого и всего, что потом и вслед за ним наработано было литературой, не один пожаловался бы (только кому?), как в свое время американский майор Джон У. де Форест в письме к автору «Войны и мира»:

«Если у вас найдется время и желание прочесть его (роман Джона У. де Фореста «Мисс Равенел»,— А. А.), вы заметите один

большой недостаток: мне не хватило вашей смелости и честности в разоблачении всего ужаса войны.

Я не посмел сказать миру, каковы истинные чувства человека, даже и храброго, на поле битвы. Я боялся, что люди скажут: «О, в глубине души вы трус. Герой любит сражение».

Теперь, прочитав «Войну и мир», я горько сожалею, что был так ничтожен и не смог достичь той правды, которая возможна лишь при полной искренности. Правда — величественна и прекрасна, но трудно достижима, и иногда ей страшно смотреть в глаза»[1].

К нам толстовская правда войны пришла, в нас проникла задолго до наших собственных военных переживаний. Мы уже знали, понимали, что хотя трусить и в первом бою стыдно, но это и с другими, не только с нами случается, а потому не надо спешить забывать неприятное, что с тобой случалось, а тем более 10-20 лет спустя, за письменным столом. Мы уже знали, что к мысли о смерти и о страдании привыкнуть нельзя, а можно лишь научиться управлять собой, несмотря на страх и вопреки ему... Находили этому и еще многому подтверждение (а иногда и опровержение), но мы уже о многом знали. А главное, мы знали, что не следует бояться всей правды, какая бы она жестокая или обидная ни была, ни казалась: не с нами одними такое происходит! Не будь в нас этого знания, сколько бы мы постарались забыть начисто! (Человек это умеет.) А сколько всего наше сознание не зафиксировало бы, не побывай мы до того «на войне» Толстого: не казалось бы таким значительным, стоящим внимания, а, наоборот, чем-то случайным и даже невозможным. Помните «Путешествие на «Кон-Тики» Тура Хейердала: поймал пассажир небывалую рыбу и быстренько плюхнул ее в воду: «Нет, такие не бывают!..»

Интересная была бы арифметика: «подсчитать», от скольких фальшивых военных сцен, воспоминаний, книг избавило мировую литературу одно лишь то место в «Войне и мире», где обнажена Толстым молодая, гусарская ложь Николая Ростова о первой атаке — для него простительная, а для литературы смертельно опасная.

«Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня, как бурею налетел на каре; как врубился в него, рубил направо и налево; как сабля отведала мяса и как он падал в изнеможении и тому подобное. И он рассказал им все это...»

Если бы Толстой лишь доказывал, что лгать стыдно, нехорошо, вряд ли это так воздействовало бы на всю литературу. Но дело в том, что своими романами, повестями он доказал и убедил, насколько

---

[1] Литературное наследство: Толстой и зарубежный мир,—М., 1965. Т. 75, кн. 1, с. 344.

интереснее «не-ложь» о войне, насколько она богаче, даже занимательнее всей этой гусарской чепухи о «сабле, отведавшей мяса». Он показал, сколько в правде неожиданностей и поворотов. Особенно в психологии человеческой. А тут уж литература устоять не могла, как женщина перед возможностью сразу, одним усилием стать интереснее.

Вот она, не рассказанная Николаем Ростовым, первая атака, врезавшаяся в его (и в наше сознание) на всю жизнь:

«Ур-р-а-а-а!! — загудели голоса.

«Ну, попадись теперь кто бы ни был»,— думал Ростов, вдавливая шпоры Грачику и, перегоняя других, выпустил его во весь карьер...»

А затем что-то, «как широким веником», стегнуло по эскадрону,

«Что же это? я не подвигаюсь? — Я упал, я убит...» — в одно мгновение спросил и ответил Ростов. Он был уже один посреди поля».

А затем почувствовал, что что-то лишнее висит на его левой онемевшей руке... «Ну, вот и люди,— подумал он радостно, увидав несколько человек, бежавших к нему.— Они мне помогут!.. Что это за люди? — все думал Ростов, не веря своим глазам.— Неужели французы?.. Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?» Ему вспомнилась любовь к нему матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невозможно. «А может — и убить!» Он более десяти секунд стоял, не двигаясь с места и не понимая своего положения... Он схватил пистолет и, вместо того чтобы стрелять из него, бросил им в француза и побежал к кустам что было силы».

Но, конечно же, не одна лишь волнующая, занимательная неожиданность психологической правды — толстовской правды — решила все. Но еще и новая, толстовская нравственная сила, мера в показе войны и человека на войне. И то и другое общим движением, давлением развернули, по-новому направили всю литературу — как сильное течение огромный айсберг разворачивает...

Утверждать, что до Толстого вся литература лгала, когда писала о войне, будет несправедливо. И дело не в исключениях, таких, как «Валерик» Лермонтова. Просто не доросла литература до такого уровня правды, реализма. До толстовской меры. Но после Толстого оставаться на том уровне, будто и не было его,— вот тут, вот это уж действительно лгать. То, что простительно молодому и бескорыстному Ростову, что в нем трогательно, то отвратительно в Берге, холодном, расчетливом, который из красивой лжи старается извлечь для себя пользу...

Особенное, сдвоенное чувство, когда перечитываешь «Войну и мир» после, когда уже побывал на «своей» войне: вот это было с

Николаем Ростовым, а это со мной, но когда со мной это происходило, во мне происходило, я уже знал, как это бывает, и все равно пережил все заново, во всю силу, потому что впервые безжалостно рванули из рук моих жизнь — не его, мою жизнь...

Сейчас вот подумал: почему, когда нас после тяжелого боя с фронтовыми частями вытеснили танками из догорающей деревни Ковчицы и, бегущих, уверенно, мстительно низали на длинные, до самого леса, огненные трассы пуль, почему я острее всего запомнил внезапные черные пятнышки на лбу Лазарева Андрея — моего командира взвода? Он командовал: «Ложись!», когда крупнокалиберные танковые пулеметы начинали прицельно бить по нашей группе, поднимал снова по какому-то своему чутью — только собрался это сделать, как все замерло, остановилось (для меня так оно в памяти). Я смотрел на внезапно побелевший лоб, видел остановившийся, прислушивающийся взгляд и эти черные пятнышки на лбу сбоку... Не сразу и он и я, лежащий рядом, не сразу поняли, что произошло,— что он нажал поднятый кверху автомат и очередь его же гильз ударила ему в лоб. Полгода я знал его, смелее не видел и не воображал партизана, влюблен был по-мальчишески в его ироническое, порой злое хладнокровие, и вот внезапное открытие, что и он «не привык» окончательно к мысли о смерти, остановило для меня на секунды и бой, и пальбу, и мысль о собственной гибели.

Не знаю, поразило бы это меня так, не знай я через Толстого о человеке на войне больше, чем говорил мне мой собственный опыт? Я не то что обрадовался (не до того было), что на шажок могу приблизиться к своему кумиру: и в нем бывает то, что и во мне! Но помню, как вцепился в него глазами, когда понял, что произошло на самом деле: не уверен, что была бы эта жадность, цепкость взгляда, памяти без той довоенной внутренней работы, которую так подтолкнул Толстой. Уже знал цену таким «деталям».

Теперь, издалека, готов и не относящееся отнести к Толстому, его «урокам», хотя был, конечно, и Пушкин, в которого был влюблен, как в живого, были Лермонтов, Байрон, Горький, Чехов, Достоевский, Колас... Кроме того, была жизнь, 16 лет жизни, да еще вздыбленной под конец годами войны.

Когда для этой работы выписывал из «Войны и мира» про то, как Болконскому почудилось, что его «со всего размаха крепкою палкой» кто-то ударил по голове, я вспомнил, что и меня в 1943-м вот так же ударило «палкой» (очень удивился: «Палкой, кто мог ударить меня палкой?») и что я отдал эту нелепую мысль своему персонажу. Совершенно ясно, что в тот миг удара я не об аналогии с Толстым

подумал, а само так подумалось, почудилось: ошеломивший удар — и высек эту нелепую (и как оказалось — художественную) мысль из головы. Начинает казаться, что не только литература, но и сама жизнь берет, заимствует у Толстого! Не случайно вырвалось у одного голландца, что если бы сам господь бог решил написать роман, он не смог бы обойти опыт «Войны и мира».

Вот еще и, будем считать, последний здесь пример из этого ряда.

Отделением идем через открытое поле, из-за горки появляются и нам навстречу идут тоже человек десять — некоторые в полунемецком, как и мы. Оружие «со всей Европы», как и у нас. Партизаны? Полицаи? Ни красных ленточек, ни белых повязок. Послать вперед двоих в дозор, как делали обычно,— поздно и, главное, смешно, не хочется на глазах, может быть (скорее всего), у партизан демонстрировать такую осторожность, испуг. Сойдемся, и будут издеваться. Тем более что они идут и ничего. Конечно же, партизаны, а кто еще! Разве шли бы так и они и мы, разве так спокойно было бы, так светило бы с голубого неба солнце и звенели жаворонки? Человек умеет не поверить в происходящее, когда ему чего-то смертельно не хочется. То, что мы сближались, не сделав того, что должны были бы,— не послали вперед дозорных — странно успокаивало, хотя, казалось бы, почему?! Уже лица видим, и как у переднего руки лежат на автомате, и как идущий по другой стороне дороги дернул плечом —спустил ниже ствол висящего поперек груди автомата (теперь ему только повернуться боком и можно лупить!). Всё замечаем. А они, наверное, тоже. Что мы сломали строй, чтобы не стрелять в спину другому, что и наш Вася Герчиков невинно передернул ремень пулемета. А отделенный Миша Коваленко, тот незаметно и для нас (но щелчок услышали) осторожным пальцем взвел автомат. Боится и нас спугнуть: он тоже «точно знает», что это наши там, а проделывает свои штучки потому, что уже «искра» проскакивать начала. И в нас этот его щелчок отдался электричеством...

Помните: «Какой-то свет глаз с быстротою электрической искры перебежал из глаз Теленина в глаза Ростова и обратно, обратно и обратно, все в одно мгновение».

Искра страшной догадки, узнавание страшной истины и тоскливое желание оттянуть неизбежное, и боязнь опоздать, и ошибиться боязнь!..

Поскольку Толстой действительно вошел в нас вместе с проясняющейся нашей способностью, склонностью к рефлексии, взгляду со стороны, самоанализу, есть тут опасность свою внутреннюю жизнь не

очень скромно «поднимать к Толстому». Но что поделаешь, если он так врос в нас (или мы в него)!

* * *

Когда мы пишем о толстовском влиянии на советских «военных» писателей, необходимо иметь в виду то, что говорилось выше,— Толстой приходил к ним, не когда они сели за письменный стол, а когда они сидели в окопах или участвовали в партизанских операциях, когда отбивали атаки, двигались в огне и пыли отступающих колонн 1941 года или участвовали в решающих битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, Ленинградом, в Белоруссии, под Берлином... Мы уже пытались передать, как это бывает (в связи с фронтовыми записками М. Горецкого), когда психологическая правда войны, почерпнутая из книг Толстого, начинает жить в твоем сознании как твой собственный опыт: «Вот это чувство, эту гримасу смерти, боли, ужаса, восторга, эту сцену я уже где-то наблюдал, переживал, помню...» И ты замечаешь, запечетлевается в тебе на всю жизнь то, что могло и «проскочить» как несущественное и малоинтересное, отскочить от твоего сознания как вроде бы невозможное.

Но если сравнить первую мировую с Отечественной: «На империалистической войне» Горецкого, а также «войну» Барбюса, Ремарка, Олдингтона, Хемингуэя — с «войной», с поэзией, прозой Твардовского, Симонова, Бека, Мележа, Бакланова, Богомолова, Бондарева, Брыля, Быкова, Гранина, Науменко, Ананьева, мы увидим и различие огромное, которое свидетельствует, что сознание войны как дела справедливого или несправедливого преобразуется в чувство эстетическое.

И тем не менее все было намного сложнее, чем представлялось тем исследователям и критикам, которые увидели, подчеркивали лишь различие между той и другой литературой и не хотели замечать общего истока. Например, того толстовского «истока», о котором говорилось выше.

Первая мировая война для советской литературы 20-х и 30-х годов была «перекрыта» — как бы отодвинута и заслонена — событиями революции и гражданской войны. И произведения о той мировой войне, которые появились («Тяжелый дивизион» Александра Лебеденко, «На империалистической войне» Максима Горецкого и некоторые другие), при всех высоких достоинствах затерялись среди огромного количества тоже великолепных, а зачастую новаторских для всей мировой литературы произведений, посвященных событиям революции и гражданской войны.

За малым исключением (правда, среди этого «малого» и «Тихий Дон») литература наша, наэлектризованная пафосом революции, ушла от тем и проблем, которыми западноевропейская литература жила еще целые десятилетия — Ремарк, Олдингтон, Хемингуэй, Арнольд Цвейг и др. Мы тут имеем в виду не специфическую тему «потерянного поколения» — душевный кризис героев известных книг в послевоенное время. Нас в данном случае интересует другая сторона этой литературы: беспощадный показ мировой бойни и всей правды поведения человека в обстановке такой бойни. Да, были и у нас произведения об этом, и тоже великолепные. Достаточно назвать «Тихий Дон». Менее известна читателю, конечно же, дневниковая повесть белорусского писателя Максима Горецкого «На империалистической войне».

Но господствовали в литературе нашей в 20-е и 30-е годы другая тема и другие проблемы, которые, как уже отмечалось, рождены были пафосом революции и расцвеченной небывалыми страстями гражданской войны. (Это — и в «Тихом Доне», и в рассказах Бабеля, и в «Чапаеве», и в «Хождении по мукам», и в других известных произведениях).

Потом пришло время — десятилетия анализа Вот когда художественный опыт Барбюса, Ремарка, Хемингуэя, Олдингтона, Арнольда Цвейга и других европейских писателей-антимилитаристов стал для нашей литературы творчески интересен. (Нет, их много переводили, их читали, о них много писали, спорили и в прежние времена, но все это волновало больше критику, «теорию», нежели самоё художественную практику.)

В наше время (в 50-60-е годы) большой художественный опыт западноевропейской литературы в показе первой мировой войны оказался по-настоящему созвучен — беспощадной, безжалостной правдой изображения войны, человека на войне — и Бакланову («Пядь земли»), и Бондареву («Батальоны просят огня», «Последние залпы»), и Быкову, и Симонову, и Брылю («Птицы и гнезда») и др.

Критика сразу заметила определенную «переориентировку» военных прозаиков конца 50-х и 60-х годов в смысле «традиций». Зазвучали громкие упреки в «ремаркизме». Разгорелись споры об «окопной правде».

На первый взгляд, действительно — всего лишь «запоздалый ремаркизм». Но все было гораздо сложнее. И в отношении переориентировки на традиции — тоже.

Это был скорее новый, на новом витке, выход к общему источнику (общему и для Ремарка, и для Хемингуэя, и для Симонова,

Бакланова, Богомолова, Гранина, Бондарева, Брыля, Быкова) — к Толстому. Еще раз мощно проявилась вечно обновляющая сила толстовской традиции — его «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира». Толстовская художественная мера, при которой правдивость и нравственность взаимообусловлены и неразделимы, уже не раз и не два за последнее столетие служила для многих литератур и писателей спасительной метой — для тех, кто отрывался от реальности или, наоборот, погружался в ее грязь «ниже человеческого уровня».

Само время, кажется, примирило: почти затихли спорящие голоса в критике вокруг «окопной» и «неокопной» правды, вокруг «карты-четырехверстки» и «глобуса». Примирение «окопа» и «ставки» произошло и в самой литературе — в произведениях более талантливых и в менее талантливых произведениях. Помирились, поладили на «синтезе» — слово найдено! Мы об этом уже говорили. И еще раз вернемся к этому в заключение разговора.

* * *

Толстой, толстовская литература открывали нам не только нас самих на войне (точнее, помогали открывать). «Война и мир» помогал увидеть также масштабы трагедии нашествия и творимого народом героизма—особенно в трудную годину битвы под Москвой.

Когда сводки с фронта были неутешительные, пугающие, не только мы, а и люди в других странах «прислушивались к обнадеживающему голосу автора «Войны и мира»... Двунадесять языков — было, отступление русских армий в глубь страны — было, Смоленск — было и даже Москва — тоже было, но потом был пожар Москвы, кружащая где-то в морозных просторах армия Кутузова, партизаны, устланная трупами голодная Смоленская дорога, страшная переправа через Березину, а там — разгром в собственной стране...

На карту первоначальных успехов, побед Гитлера в нашем сознании накладывалась карта тоже успехов, но и неизбежного поражения Наполеона — и ту и другую карты держал перед нашим взором, перед взором порабощенной Европы и мира Лев Толстой[1].

Когда Гитлер продвигался в глубь России со своею армией, «ей желали той же участи, какая постигла армию Наполеона»[2] вспоминает французский публицист Клод Руа. А немецкая писательница Анна

---

[1] А вот буквальное соответствие этому: новое издание романа Толстого, выпущенное в США в 1942 г., было снабжено картами военных действий и подсказывало аналогию между неудачей наполеоновского похода на Москву и разгромом немецкой фашистской армии (об этом см.: Григорьев А. Л. Русская литература в зарубежном литературоведении —Л., 1977, с. 35).

[2] Литературное наследство: Толстой и зарубежный мир, т. 75, кн. 1, с. 13.

Зегерс говорит: «В тяжелое, часто лично для меня опасное время, когда гитлеровская армия оккупировала Францию, во всем этом хаосе и смятенье, в заброшенности и беспомощности я испытывала глубокую потребность в классической, невыразимо целительной прозе Толстого»[1].

На оккупированных фашистами территориях Советского Союза, в частности в Белоруссии, война продолжалась с нарастающим ожесточением — партизанская война. Полумиллионная армия белорусских партизан и подпольщиков сражалась против стратегических тылов гитлеровских армий «Центр». На фронте и в советском тылу с восхищением следили за действиями партизанского «второго фронта». Но наш, из Белоруссии, взор, наши надежда, тревога, ожидание направлены были на восток — к Москве, Ленинграду, Сталинграду, Курску, где решались судьбы войны, судьба и белорусского народа, И чем больше свирепствовал враг, стремившийся разгромить русских (русских, белорусов, украинцев и др.) не только как государство, но и как народ — истребить целые народы, тем страшнее пылали сотни белорусских Хатыней (вместе с людьми сжигаемые деревни!), тем нужнее и целительнее для нас были уверенно-торжественные слова великого Толстого про «дубину народной войны», которая сокрушила нашествие Наполеона. Которая сокрушит и Гитлера — мы это прямо вычитывали у Толстого.

Если позволительно в качестве примера еще раз сослаться на собственную память и работу, то я скажу, что публицистические отступления «под Толстого» в романе «Война под крышами», хотя и писались, написаны, конечно, после войны, но как чувство возникли и жили в душе в первые недели, месяцы войны...

За стенами дома день и ночь гудит от немецких машин «варшавка» на 679-м километре от Москвы. В 100 метрах от дома — немецкая комендатура... Что-то непонятное произошло, ошеломившее, перевернувшее все представления и самоё жизнь. Фашисты уже под Москвой!.. Первое время они еще сообщали о своих продвижениях, и люди имели представление, где и что происходит. А к концу лета, к осени как бы и это заленились делать: так уверены, что победа их неизбежна?.. Именно в эти дни, недели с особенной жадностью и надеждой заново читал Толстого и вычитывал: двунадесять языков — было, враг под Москвой — было... И все как бы снова на место становилось.

---

[1] Там же, с. 228.

«Война и мир» входил в сознание авторов будущих книг о Великой Отечественной 1941-1945-го по-разному.

Но так или иначе она присутствует и в «Минском направлении» белоруса Ивана Мележа, и в трилогии Константина Симонова, в «Горячем снеге» Юрия Бондарева, «Блокаде» Александра Чаковского, в романе Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом», в украинском романе «Человек и оружие» Олеся Гончара...

Любопытно и поучительно вычитывать в книгах этих и других писателей, как чувства, переживания военной поры обязательно вбирали и толстовский литературный опыт — даже если человек еще и не думал, и не мечтал о литературном призвании.

И все-таки особенно закономерным представляется нам то, что именно К. Симонов в своих романах с самого начала и особенно был сориентирован на опыт, на приемы, на интонацию толстовской эпопеи. В отличие от многих он прошел войну уже сложившимся писателем, а потому его романы о войне «помечены» Толстым не только заметно, но подчеркнуто, откровенно.

И все-таки эпопею об Отечественной войне первым взялся писать человек менее опытный в литературных делах (по-юношески смелый, видимо, оттого, что не сознавал всей сложности задачи). Им был Иван Мележ, автор «Минского направления».

Этому артиллеристу «не досталась» победная битва иод Москвой, под Сталинградом, под Курском, а лишь горечь, и гнев, и отчаяние первых недель и месяцев отступления. Раненый, он на всю войну выбыл из строя задолго до всех победных событий и дел. Не пережил лично «Бородино», но «Аустерлица» хлебнул сполна. Писать же взялся именно о «Бородине» — о победном марше наших войск по Белоруссии в 1944 году (операция «Багратион», которая потом стала и темой завершающей книги симоновской трилогии). Иван Мележ осуществлял в 40-50-е годы смелый творческий замысел: показать в эпическом развороте фронт и тыл (партизанский) на центральном, на белорусском направлении, которое вначале было кинжально приставлено к нашему сердцу — Москве, а в конце войны — к Берлину.

«Минское направление» Ивана Мележа (наряду с романом Василия Гроссмана «За правое дело») было довольно успешным началом эпопейного изображения событий Великой Отечественной в послевоенное время. Но, конечно же, то, что писатель обошел в романе горький опыт начального периода войны (который был его собственным опытом), не могло не обеднить людские судьбы и картины завершающих побед — в столь панорамном произведении. (Лев Толстой когда-то напрямик писал об этом: без Аустерлица невозможно

и Бородино понять и оценить!) Недостает «Минскому направлению» и того личностного, ничем другим не восполнимого начала, которого современный читатель ищет прежде всего — и в эпопеях также. И которое выработано было именно «исповедальной» («окопной») литературой, а от нее перешло и в эпопею — уже в 60-е и 70-е годы[1].

Впрочем, сказанное здесь не одного лишь раннего романа И. Мележа касается. И последующее развитие романа-эпопеи об Отечественной войне совершалось и совершается не без потерь такого же рода, хотя они и появились уже после «исповедального» этапа. Достаточно сравнить роман «Берег» Ю. Бондарева с его же повестями «Батальоны...» и «Последние залпы», чтобы убедиться, что, обогащаясь в чем-то (широта захвата, выход к «общим» проблемам), военная проза этого рода все-таки теряет тот обжигающе точный нравственный «фокус», который был свойствен лучшим произведениям второй половины 50-х и 60-х годов.

Искусство (по Толстому) — это всегда и обязательно воспоминание. Человек плачет или смеется — это еще сама жизнь. Вспоминая, как мы плакали или смеялись, воспроизводя состояние горя или радости, мы вступаем уже в сферу искусства. Если литература — это обязательно воспоминание (о состояниях, мыслях, чувствах), то законы человеческой памяти будут как-то влиять и на эстетическом уровне.

Военную память, ее эволюцию Ремарк, например, рисовал так: выбравшийся, выползший из четырехлетних окопов солдат питает почти физическое отвращение к своей окопной памяти — он реалист беспощаднейший, тот солдат. Но проходят годы, и под мирным небом (да к тому же новые тяготы, заботы, пусть даже «мирные»!) солдатская память бледнеет, кровавое выцветает до розового. Солдат уже созрел для «военной романтики», готов морочить ею головы будущим жертвам будущей бойни.

Но ведь что-то похожее происходит и со многими авторами — с их памятью военной. Ненавидя войну, провозглашая по-прежнему свое к ней отвращение, начинают любить и лелеять... свою память о войне. Ласкать ее, свою память, «лейтенантскую», «партизанскую» — и вот уже розовое сочинительство сочится из-под пера вчерашних жестоких реалистов.

Это особенно заметно в произведениях эпопейного типа. Впрочем, и в повестях также — Бориса Васильева, например.

---

[1] Кстати сказать, «Минское направление» было «разведкой» и для последующего творчества самого Мележа. Потом была «Полесскаи хроника» — выдающееся произведение белорусской и всей советской литературы, в котором «мысль народная» о судьбах крестьянства пронизана чувством сыновней, с каждой книгой все более щемящей любви к людям, краю, откуда выходил в жизнь, на войну, в творчество Иван Мележ.

Но в эпопеях эта тенденция получает даже принципиальное объяснение, оправдание. Обнаружилась полемическая тенденция (наиболее последовательно реализуется она в романе И, Стаднюка «Война») рассматривать жанр эпопеи как своего рода «охлаждающее устройство» в нашей военной литературе.

Кратко суть этой тенденции (мысли, теории) сводится к тому, что эпопея изначально заключает в себе некое «гармонизирующее», утешительное начало.

То, что для индивидуума — конец всего, трагедия, то в более широком контексте, для целого народа — лишь страничка его бессмертной истории... И, дескать, одно дело повести о локальных событиях, ситуациях (Бакланова, Быкова, Гранина и др.) — в них нет настоящей высоты обзора, а потому столько трагизма, боли, жестокой остроты. Спасение от этих крайностей — в эпопее, которая, мол, сама все выравнивает, обязывает соблюдать «пропорции» и т. д.

И здесь тоже многое помогают нам уяснить Толстой и его великая эпопея.

Когда Лев Толстой писал «Войну и мир» — спустя полвека после войны 1812 года,—он мог (и «имел право») еще довольно «эпически» смотреть и рассуждать по поводу этого странного занятия людей — войн. Не висели они еще над человечеством — после каждой только что схлынувшей — ожиданием, кошмаром новой, еще большей, самоистребительной бойни. У Толстого уже все было: и бескомпромиссный антимилитаризм, и ожидание мировой войны с невиданными техническими усовершенствованиями человекоистребления (в начале XX века он об этом прямо предупреждал). С Толстого и началась истинная правда о человеке на войне. Все было у Толстого. Кроме этого, кроме одного: реально го знания, что следующая мировая будет и последней — если люди ей позволят быть. Что оборвется, прекратится сама история человечества — после еще одной. Нетрудно представить, с какой остротой и беспощадным, безжалостным обнажением причин и следствий всего, что есть война, убийство, смерть, пролитие крови, писал бы Лев Толстой в подобной, в нашей ситуации.

Возможно, и было это свойственно традиционной эпопее — стирать остроту и боль данного момента, растворять во временной перспективе. Мол, то, что конечно для индивидуума, то для народа, человечества — всего лишь страничка книги исторического бессмертия! Если это было характерно для «военной» эпопеи прежде, то сегодня — одно из двух: или она действительно анахронизм, потому что нравственно не обеспечена, или должна от чего-то отказаться и что-то новое приобрести.

От эпопейного, от широкого повествования о войне в современной ситуации можно и должно ждать пропорционально большей остроты и чувств, и мыслей, и трагизма. Как раз благодаря более широкому захвату фактов и глобальных проблем... Трагедия всегда питалась необратимостью гибели героя, человека. Атомный век, возможность глобальной войны на место одного человека подставляют уже человечество. Так какое может быть «приглушение» трагизма в современной военной эпопее? Наоборот! Современная эпопея о войне тогда только и родится, очевидно, когда появятся произведения, в которых острота, боль, вся правда и-трагизм индивидуальной военной судьбы будут возведены к острейшим проблемам современного человечества, т. е. беспощадная правда войны в современной эпопее должна быть как раз углублена, помножена, возведена в степень, а отнюдь не ослаблена.

Никто, как Толстой,— с каждым годом жизни все более непримиримо и целеустремленно— не обнажал всю правду о войне, войнах.

Современное «прочтение» толстовской эпопеи нашей литературой, конечно же, еще впереди...

* * *

Из анкетных ответов белорусских прозаиков на вопрос: «Кто из писателей сопровождал, сопровождает Вас на творческом пути?»:

Иван Мележ: «В разные периоды жизни меня сопровождали разные писатели. Неизменно — Лев Толстой...»

Василь Быков: «У Толстого меня привлекает всеобъемлемость и глубина жизни, а также человечность...»

Янка Брыль: «Толстой и Чехов. Глубина общечеловеческого содержания и художественное совершенство. А также — это очень важно — их человеческий облик».

Такие признания, примеры можно множить и множить... И ничего нет удивительного, что величайший романист мира был и остается образцом для писателей Воистину, сам господь бог — реши он писать роман — делал бы это с оглядкой на Толстого. Да, писатели не только легко, но и с удовольствием признают толстовское влияние. Наивно было бы Думать, что всегда и в отношении любого «образца» так бывает у писателей.

Потому что Толстой — недосягаемый ни для кого образец. Вечный, как небо? И никому не обидно? Да, и потому.

Но и потому еще, что характер воздействия Толстого на больших писателей несколько иной, чем многих других художников слова — Достоевского, например.

Да, если бы любой писатель настолько приблизился в самом стиле к любому другому, как Фадеев в «Разгроме» к Толстому,— это было бы не больше, чем «чистописание по классическому образцу». В случае с «Разгромом» этого не произошло. Хотя помним, как в свое время критики, которые воевали за «литературу факта» и против жанра романа, старательно выписывали колонки «схожих» цитат из «Разгрома» и рядом из Толстого. И все равно Фадеев оставался Фадеевым.

Иное случилось со многими даже значительными писателями в 20-е годы, кто неосторожно близко «прошел» возле столь же великой звезды — Достоевского. Притянула намертво. Это произошло (на какое-то время) и с нашим белорусским прозаиком М. Зарецким (повесть «Голый зверь», роман «Стежки-дорожки»).

Достоевский если забирает в плен другого художника, который попал в «поле притяжения», то забирает всего. В отличие от Толстого, который обогащает, но не стремится подчинить чужой талант. Приближение к стилю, к приемам Толстого обычно не лишает художника своего лица. В чем тут загадка? И разгадка в чем? Думается, что в характере мироощущения и самого стиля Толстого.

Достоевский гениально деформирует жизнь человека, чтобы показать изнанку вещей, обнаружить то, что спрятано от привычного глаза. Толстой и пылинки не стронет с места, он только принудит все изнутри засветиться — неожиданным светом беспощадной правды, рождения, любви...

Толстой учит так стать, так повернуться к жизни, что все выглядит только что созданным, возникшим из небытия. Человек остается один на один с природой, с людьми, с миром. Толстой покажет, а сам отступит назад. Достоевский уже не отступит, не «отстанет», ибо только в его присутствии Вселенную, человека мы видим так непривычно, так остро, самое нереальное выглядит правдой, а реальность — фантастически.

Один из оригинальнейших, крупнейших современных прозаиков Белоруссии Янка Брыль всю свою жизнь шел, идет, «краем глаза» захватывая, влюбленно, восхищенно, своего великого учителя — Толстого.

«...Родниково чистый океан бездонного творчества русского гения, тот родной океан, к которому и я припал — сыновнее спасибо тебе, не слишком ласковая доля! — еще на пороге юности, тот вечно

свежий и неисчерпаемый океан, на берег которого часто прихожу и, наклонившись, черпаю сегодня»[1].

Прошел через войну, партизанщину, любовь и ненависть, сама жизнь, судьба родного народа дали Брылю великие уроки. Но осознать и сформулировать их — как главный итог! — помог все тот же Лев Николаевич Толстой, близкий и в юности, и в зрелые годы. В миниатюрах Янки Брыля «Горсть солнечных лучей» читаем:

«Я могу ошибаться во многом, в жизни моей было немало меньших и больших ошибок, но одно я знаю твердо, выше всего и прежде всего — человечность.

Я верю в это всю свою жизнь, и только это осталось бы во мне, если бы пришло самое большое или последнее горе».

Широко известен переведенный на многие языки роман я. Брыля «Птицы и гнезда»[2] — правдивое лирическое повествование о «западнобелорусском» солдате разгромленной Гитлером польской армии, а затем советском партизане Алесе Руневиче, который, побывав в долгом плену в фашистской Германии, близко рассмотрел, познал отвратительную и зловещую комедию превращения «обыкновенных немцев» в тупиц-«сверхчеловеков».

Алесь Руневич — поэт в душе, он духовно активен, развит чтением (и особенно чтением Толстого, Чехова, Гоголя, белорусской и польской классики). Как и многие в условиях Западной Белоруссии, он избрал своим «учителем жизни» Льва Толстого. Всего Толстого, как писал в автобиографии Янка Брыль про самого себя,— «с непротивлением и вегетарианством». Алесь Руневич (тоже авторское) не из тех, однако, «толстовцев», которые не видели, не воспринимали Толстого-художника и Толстого-борца (действительно «всего Толстого»), а только узко понятую «проповедь» его. Для Брыля (и для его героя) в условиях Западной Белоруссии Лев Толстой был знаменем истинной культуры — человечной, гуманной, народной, культуры для простого рабочего человека. От которой белоруса, народные массы «кресов» (окраин панской Польши) всячески отгораживали пилсудчики, считая, что народная культура — прямой путь к «большевизму». «Через» Толстого к этой культуре прорывался Алесь Руневич. С его, великого художника, мощной поддержкой так когда-то белорусские поэты в условиях царской России) — к слову, к культуре на народном, на белорусском языке.

---

[1] Брыль Я. Двойчы пра тое самае.— Зб. тв. У 4-х т. Мн 1968 Т. 4, с. 216
[2] Начал работу над ним Я. Брыль еще в 1942-1943 гг.

Перед глазами у героев Брыля фашистская Германия — то «одурение» и «озверение», та «культурная дикость», о чем когда-то писал, предупреждал Толстой. Он говорил о ницшеанстве и о милитаризме как о мракобесии, новых «средних веках» на основе бездушной техники, науки, на которую человек, каков он есть, «не имеет права» (статья «Одумайтесь!», работа «Царство божие внутри нас» и др.).

На глазах у Алеся Руневича немцы — вчера еще, казалось, люди — как оборотни, становятся нелюдьми. Неожиданно быстро.

«Старенькая, кажется, еще больше, чем всегда, забитая фрау Хаземан, стоя на пороге,— будто уже не хозяйка в доме — плакала. И в плаче ее, и в словах звучала надежда, что они, пока всего лишь пленные, которых она — не правда ли? — и уважала, и о которых заботилась, как о своих, не дадут ее потом в обиду. И это потом — вот-вот оно, не через день, так через неделю. Ведь — Руслянд, таинственная и колоссальная, красная и грозная Руслянд!..

Она была не единственная, старуха Хаземан, она была для наших хлопцев лишь первой из немцев, которых — им казалось, всех! — охватили в те дни тревога и страх.

Несколько первых дней немецкое радио о событиях на востоке молчало.

Звучали призывы, марши.

И ни слова об успехах...

Рабочие на «Детаге», клиенты заводской кантины, прохожие на улице, покупатели и продавцы в магазинах, куда заходили Алесь с Андреем, жильцы дома Грубера — все немцы, с которыми пленные встречались,— либо угрюмо молчали, придавленные грозной неизвестностью, либо даже заискивали перед ними, невольниками, представителями той силы, которая там, на востоке, так невероятно небывало страшно решает и решит их судьбу...

Молчал даже плюгавый Вольф, широкоротый уродец, слепо влюбленный в фюрера. Молчал, оторопело тараща слезливые глазки, и работать стал потише...

Пыталась подольститься к «энтляссенам» сама богиня пива и снеди — могучая усатая фрау Ирмгард. Однажды она, неспособная согнуться от жира, без особой опаски, молча, лишь с улыбкой, подняла навстречу Руневичу и Мозольку маленький боевой кулак: «Рот Фронт!..»

В те дни они, невольники, ходили исполненные огромной затаенной радости, именинниками.

— Хлопцы, нам пока надо молчать,— говорил Крушина,—Мы покуда в их руках, на нас у них силы хватит. Гляди в оба и будь начеку!..

Ужас обрушился на души пленных нежданно.

После нескольких дней молчания, как выяснилось — чтоб накалить атмосферу, радио грохнуло ошеломляющим триумфом:

«Все атаки русских отбиты! Немецкие войска перешли в наступление!..»

В доказательство — названия захваченных городов. Невероятно! Брест, Белосток, Минск, Львов, Каунас...

В доказательство — черные стрелки на картах, что бьют в глаза с каждой сводкой глубже и глубже...

В доказательство — кадры кинохроники». (Перевод здесь и дальше А. Островского.— А. А.).

«А дальше поперло уже и что-то совсем животное, наглое, прусское, похоже, что вскормленное давно:

...В кинозале — молодой животный хохот зрителей, простодушное почмокивание разочарованных, тех, что недавно мысленно сжимали кулак в ротфронтовском приветствии.

А в душах невольников — боль и растерянность...

И приходилось молчать, когда, выходя из кино или прослушав очередную сводку, к тебе обращались немцы:

— Ну как? Нравится?..

Те самые немцы, что недавно радовались смерти поляков, французов, англичан, югославов, арабов, негров, что радуются теперь — еще больше! — смерти твоих соотечественников, и рады были бы, конечно, и твоей погибели, знай они, что у тебя в мыслях.

Да и так уж обращались к тебе не по-прежнему — сдержанно из-за договора,— а почти как к врагу, такому же, как те, что бегут там на восток, бегут, разутые, по нивам — «к Москве, которая будет — хайль Гитлер! — взята буквально на днях...»

«А потом — совсем уж новость!..

Здоровенький фельдфебель, мордастый, усатый,— именно тот, на котором, по Бисмарку, держался еще «первый рейх»,— с неполной кружкой в руке, взгромоздился в сапогах на стол, зашагал... Остановившись, разинув усатую, хищнозубую пасть, захохотал почти так же, как пан Рогальский. Насчет той же папахи, разумеется, что уже отлетела за Днепр, от той же, только покрепче, радости! Апофеоз этой радости был и вовсе неожиданный. Верзила расстегнул штаны... и, пригнувшись, стал кропить вокруг себя — на кружки с пивом, на людей,— уже не смеясь, сосредоточенно, грозно, воинственно. А

пьяный сброд визжал от радости, ревел, хохотал. О, либер Дойчлянд — юбер аллее!..»

Что за механизм такой в людях срабатывает? И такой безотказный! На какие же «клавиши» он давит в человеческой душе? И что нужно человеку, чтобы этому противостоять?

Мы помним, что об этом мучительно раздумывал другой пленный — Пьер Безухов (например, в известной сцене расстрела французами «поджигателей»).

И снова, как в случае с Максимом Горецким, с другими «военными» писателями, которые «свою» войну открывали, уже побывав с Толстым на «его» войне,— снова Толстой помогает писателю, уже Янке Брылю, задуматься над тем, что он видел, пережил. Не за писательским столом, а и гораздо раньше — в дни плена, штрафных лагерей, побегов из плена... Там, тогда думалось, чувствовалось, переживалось все это под влиянием самой реальности, беспощадной, страшной, сложной. Но и Толстой при этом «присутствовал», и его присутствие многое определяло: и дополнительную зоркость будущего автора романа об этих событиях, и его способность задуматься над многим, над чем другие не раздумывали («вся земля — один дом» и т. п.). Благодаря тому, что сам Брыль прошел жизненный, духовный путь, схожий с путем его героя, и Толстой был с ним «там», а не только после, за письменным столом, благодаря этому, думается, Янка Брыль избежал в романе чисто литературного, всегда рискованного параллелизма. Был, подстерегал писателя соблазн (кое-где в публицистике романа есть тому свидетельство): сделать из Руневича Пьера Безухова наоборот. Ведь начинал Руневич свой крестный путь в плену если не с «каратаевщины», то все же с больших иллюзий относительно того, что и невольник свободен, если он человек духа. Это, конечно, не жутковато-веселое безуховское: «В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!..», но где-то рядом, близко. Пьер Безухов к этому пришел потом, а начинал с героических мечтаний (убить «тирана», освободить мир от Наполеона).

Алесь же Руневич от прекраснодушных мечтаний о «братстве людей» перешел в стан активных борцов против фашистской тирании.

«Такого не проймеш духовным превосходством — думает теперь Руневич,— Здесь, среди нас, он был бы смешон и жалок, твой юношеский пацифизм».

«Крушина посмотрел на Руневича долгим взглядом.

— Милый мой хлопче,— заговорил он без всякой иронии,— кто из них, великих, сказал, не Словацкий ли: «Не час жаловаць руж, гды плонон лясы»?[1]

Твою гуманность придется на время отставить. Если хочешь, как раз во имя ее, за Человека, мы и будем драться насмерть!.. Это ж не просто война, а такая, каких еще не было. Война света и тьмы, смерти и жизни. Мы будем воевать с фашизмом, а не с немцами... Да что мне тебя — агитировать?..»

Как эти мысли, выводы ни важны в романе, они все-таки не главная глубина, возникающая из творческого взаимодействия с толстовской традицией.

На глубине — не публицистический, а истинно художественный результат, и определяется он не внешними параллелями (Безухов — Руневич), а той огромной работой духа, нравственного чувства, к которой нас подключают автор и его роман.

Фашизм — слишком большое и откровенное зло, чтобы долго мог задержаться на проблеме «бороться — не бороться» такой человек, как Руневич. И не «отговаривает» его Толстой от этого. Совсем наоборот. Именно нравственная чистота Алеся Руневича, его неприятие жестокости, бесчеловечности, бездуховной тупости — все, что так сродни Толстому,— делает героя романа Брыля врагом фашизма не только по идеалам, но и по изначальному чувству, здоровому человеческому чутью.

Роман «Птицы и гнезда» — это, может быть, первое пока произведение в советской литературе, где «обыкновенный фашизм» изображен столь широко и во временном развитии. Жизнь пленного солдата-белоруса в условиях 1939-1942 годов предоставила Я. Брылю возможность видеть Германию Гитлера по обе стороны колючей проволоки. (У тех, кто попал в плен после нападения Германии на Советский Союз, такой возможности уже не было.) «Привилегию» многое видеть, запоминать, оценивать будущий автор романа «Птицы и гнезда» использовал в полную силу.

Возле, вокруг был «целый интернационал» из немцев (людей и нелюдей) и тех, кого они «полонили»: от французов, англичан, голландцев до марокканцев, негров. Ну и, конечно, белорусы, поляки, русские... Не только человеки, но и как бы человечество проходило перед глазами, в которых с юношеских лет «поселился» Толстой. И он (из глубины зрения и памяти) многое, очень многое подсказывает молодому белорусскому хлопцу, помогая лучше видеть, честнее

---

[1] Не время жалеть розы, когда пылают леса (польск.).

чувствовать, не терять веру в человека и в человечность даже в тех условиях.

«Так ну же вас к дьяволу, кричите! Мой мир — моя вера, надежда, любовь — со мной. И я вернусь за стену, которой вам не пробить, сколько вы ни бушуйте. Орите,— мы уже попривыкали к этим страхам... Мы уже неплохо умеем разбираться, где немец, где фашист, где вечное, народное, а где такое, как вот этот дикий крик...»

«Как хорошо,— думал пленный, тихо, лесом пробираясь напрямик,— как радостно, что и здесь, за многие сотни километров от родного гнезда, после всех издевательств, среди опасностей можно все-таки думать, что мир, как говорит народная мудрость,— один дом. Вспоминать везде одинаково милых детей, раздумывать о скромном как будто, однако же самом трезвом, глубоком и близком к вечности разуме трудящегося простого человека».

«Их хабе кайне шульд... Ям не винна, панове»,— звучали в ушах его слова, а глаза девочки глядели в душу до слез доверчиво и огорченно. Говорили так необъятно много и так, кажется, небывало ясно о том, что все это дикая нелепица — вековая взаимная ненависть народов Один из них дошел уже, к примеру, до того, что объявил фашиста «сверхчеловеком», а другой все держится ветхой присказки: «Як свят святэм, не бэндзе немец полЯ. кови братэм». И неправда! — как говорят дети: ведь вот польский батрак полюбил немецкую батрачку, и любовь их украсила землю таким милым, разумным существом как Стася...»

«Только как же тебе, звездочка, тяжко гореть, как тебе тяжко светить — сегодня, во мраке фашистской ночи!..»

Это зрение — не потом «подправленное», как в иных современных романах и кинофильмах о войне и немцах Оно из войны, из огня борьбы и ненависти вынесено таким — благодаря Толстому. Тут уж определенно И мы это легко чувствуем на многих страницах романа.

«Крамольный листок из блокнота он старательно разорвал на мелкие кусочки, встал, подумал, куда их девать, подошел к речушке и широким взмахом кинул в быструю воду.

— Ну, мальчик, давай косить дальше.

Это про бунт в душе.

Что же до перепуга, то об этом всего красноречивее говорило отношение герра Ракова к местному шуцману, полицейскому.

Какой там ни город Кассов, но порядок в нем был городской: в центре, на перекрестке, стоял регулировщик.

Как по стандарту — здоровенный и пузатый, пряжка ремня едва на пупе держится, в надменно-суровом шлеме «пикельгауб», герр шуцман, которого все живое знало здесь по имени и фамилии, возвышался на площади неумолимым и неприступным воплощением правопорядка.

Встреча с этим богом с глазу на глаз для герра Ракова проходила таким образом: еще издалека, пересев на самый краешек повозки, он отводил левую руку и держал ее семафором, показывая, куда должен свернуть. До поворота еще метров сто, улица по-деревенски пустынна, а сухая старческая рука в сером плохоньком рукаве дрожит, подергивается в неудобном положении, однако и не думает опускаться. И только на повороте рука эта получала заслуженный отдых, забирала вожжи из правой, а та в свою очередь подымалась в приветственном «хайль Гитлер».

Выполнив весь этот обряд, старый батрак, казалось пленному, на глазах сбрасывал общее, обязательное для всех парадное ярмо, и в блекло-серых глазах его оставались лишь неизбывная скорбь да испуг, за которыми — можно было подумать — ни смелой мысли, ни здорового смеха:

«Чем он пришиблен? Кто и за что его так крепко стукнул? И почему он так льнет ко мне?» — часто думал Алесь.

...Алесь поднял голову, внимательно прислушался и услышал:

— Рожь начали жать.

— Ага. Вон жнейка. Я вижу.

— А красиво-то как, мальчик, видишь? Германия красивая, большая, о! А в двадцать седьмом году, помню я...

— Ага,— кивнул головой Алесь.

Но и сам рассказчик, продолжая бубнить, снова повернулся к лошадям, будто полностью уже раскрыл душу.

А пленный подумал сперва:

«Она, дядька, и правда, красивая и большая. И ты, как дитя, восхищаешься ею от чистого сердца, хотя она тебе даже грядки одной не дала. За твою работящую, человечную, кроткую непритязательность...»

Потом в Алесеву душу новым порывом целительной свежести дохнуло насущное, самое важное.

«Она хороша, но зачем она мне такая, как сейчас? — вернулся естественный вопрос с еще большей, чем до сих пор, силой,— И люди и нелюди —зачем вы мне все: чтоб быть у вас рабом? Нет!..»

И он задумался о другой, о далекой, родной красоте...»

Да, влияние, воздействие Толстого —ь это не указка учителя, а дополнительный свет, мощный прожектор, который направлен не на стол писателя, не на лист бумаги, что перед ним, а на самоё реальность, на жизнь, на человека, куда смотрит сидящий над бумагой автор.

Толстой не столько писать учит, помогает, сколько учит видеть — это самое главное и самое ценное.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПАМЯТЬ, ПРАВДА НАРОДНАЯ О ВОЙНЕ И О МИРЕ

Помню, приезжали к нам, в Белоруссию, в Институт литературы им. Я. Купалы, коллеги-литературоведы, критики, и произошел жесткий разговор, спор: а каков он, эстетический результат тех общественных, идеологических перемен и сдвигов, которые принято связывать с XX и XXII съездами партии? (Но которые, конечно же, подготовлены были и совершались — пусть и с некоторой задержкой — в результате общего подъема народного самосознания после победоносного завершения самой тяжелой из войн.)

Для меня лично тот откровенный разговор, спор служил (и сегодня служит) сильным резонатором, многое проясняющим, усиливающим, когда я читал в последующие годы многочисленные дискуссии на страницах «Вопросов литературы», «Литературной газеты», «Контекста», «Литературного обозрения» и т. д., в которых пересматривались факты и оценки славянофильского движения и наследия революционеров-демократов, роль и место многих деятелей антидемократического лагеря, таких, как Константин Леонтьев и Победоносцев, а также — Николай I, Аракчеев, Булгарин, и многое иное.

За всеми «чисто литературоведческими» сложностями и изысками мне слышится ясное и откровенное: лишь «русский холод», «морозец» полезны для нас, для здоровья литературы, и вредна, бесплодна русская и всякая иная «оттепель»!

Расцвет русской литературы в 20-е и 30-е годы обоих столетий, многозначительно настаивают авторы многочисленных статей, наблюдался отнюдь не в условиях «оттепели». Плавать здоровее в прохладной, а не в сильно подогретой воде и т. д. и т. п.

Конечно, можно сослаться и на Ибсена, который будто бы завидовал тому, как трудно жилось-писалось русским классикам. Есть примеры и более свежие: Жан Поль Сартр даже ощутил тоску по культурной революции китайского образца. Что ж, и киты выбрасываются на сушу по непонятным нам причинам и побуждениям. Про китов не скажем, а про некоторых западных интеллигентов так и просится грубое: с жиру либерального бесятся! Вам бы действительно немножко «китайского опыта» под кожу!

А вот нам, все испытавшим, все познавшим, нам ли спорить о преимуществах тех норм, идеологических и нравственных, которые стали утверждаться после 1956 года? Спор тем не менее нарастал. И сегодня длится. Простецки обывательское: «цены снижались каждый

апрель» и утонченно интеллигентское: «зато была здоровая литература» — вполне созвучны, стыкуются. Какой ценой достигалось то и другое, их не интересует — ни тех, ни других, забыли начисто. И ничего хорошего в современной жизни и литературе 60-70-х годов замечать не хотят. Принципиально.

Помню, как смутился критик, когда его спросили: «А все же, хоть кого-то, что-то стоящее можете назвать в литературе после 1956 года?»

После сердитого размышления: повесть Курочкина «На войне, как на войне»!.. И все, и ничего больше, оказывается, не было, не появлялось. Ни «Жестокости», ни «Федора Кузькина», ни «На Иртыше», ни стихов! поэм Твардовского, Кулешова, ни «военной» прозы Быкова, Бондарева, Константина Воробьева, ни «Степных баллад» Друцэ, «Прощай, Гюльсары» Айтматова, «Людей на болоте» Мележа, ни «Пряслиных» Абрамова...

Большая, а в каких-то случаях и великая литература сформировалась за эти годы — конец 50-х-70-е. И именно на путях «потепления», а не «заморозков» — на единственно благоприятном для литературы гуманистическом пути развития.

Мы не смешиваем здесь разные вещи: внешнюю обстановку (общественную) и внутренние тенденции развития (литературного). То и другое не обязательно совпадают. Потому-то и мог в николаевские времена возникнуть феномен пушкинской поэзии, но не благодаря «обстановке», а вопреки ей, отрицая ее, зовя новую зарю, согреваясь и просветляясь надеждой... Зато в статьях некоторых критиков 70-х годов мы обнаруживаем не только выведение Пушкина из «времени Николая» (и едва ли не из «аракчеевского»), но и попытки не гуманизм, а «жестокость» сделать знаменем самой литературы. Нет, не «жестокий реализм», «жестокую правду», о чем мы спорить не стали бы, а именно жестокость по отношению к людям, человеку.

А один исследователь даже в «Тихом Доне» вычитал классический пример и увидел пользу подобной жестокости. Которая, мол, созвучна жестокости самой истории, орудующей железом, а не мягким венчиком. История, она такая! Но причем здесь «Тихий Дон» — может быть, самый «сострадающий» из всех романов мировой литературы, по-народному в голос жалеющий человека, с которым история вот так обходится?!

Нет, никому и никогда не удавалось и не удастся доказать, что большая литература способна родиться из идеализации «николаевщины», из восстановления жестокости и бюрократического холода. И не только в чувствах наших дело — кто и когда считался

всерьез с чувствами, тем более что их можно и повернуть так, что и Фаддея Булгарина вдруг жалко станет (как стало его жалко одному из авторов журнала «Молодая гвардия»),— не в чувствах, а в фактах загвоздка для авторов таких статей и теорий. А факты — это литература, произведения... Но вот «деревенская» проза! Да, именно на нее сегодня опереться, в нее обрядиться пытается теория, ходившая до сих пор нагишом. Даже кое-чем поступиться готова ради столь выигрышного наряда. Например, пафосом казенной жестокости. Ибо как ее совместишь— жестокость к человеку — с гуманнейшим миром Абрамова, Белова, Можаева, Астафьева, Шукшина или Распутина?

Нет, не сойдутся и тут концы с концами у теоретиков «холода», «заморозков». Слишком очевидно, что и «деревенская» литература — результат все того же развития, начавшегося в 50-60-е годы. И, может быть, самый закономерный и глубинный результат процесса углубления гуманистических, духовных начал нашей жизни и литературы.

Что-что, но только не «деревню» можно подверстать под изощренную теорию «благотворной жестокости», приспособить к ней. И сейчас мы испытываем и вынуждены преодолевать последствия безоглядной скоропалительности, диктовавшейся «железной волей» одного человека. И, может, нигде это так не заметно, как в деревне Нечерноземья, с которой как раз и имеет дело русская «деревенская» проза...

От нелегкой жизни — на что, на кого опереться?! — ищут теоретики «заморозков» своих будто бы союзников в литературе, родившейся и расцветшей как раз на «оттепели».

Ну, да мы слишком много об очевидном.

* * *

Да, большая художественная литература выросла за последнюю четверть века. И новая во многих отношениях. Не на пустом месте: классика (в том числе и советская классика) помогала ей набирать силу, обретать глубину. Не на пустом месте, но и не из попятного движения, а из той плодотворной и новой тенденции общественного развития, которая работой партии и народа закреплялась все эти десятилетия.

Литература возникает из пережитого. Самим автором и народом его пережитого. Такова уж природа искусства. Незачем искать изощренные объяснения, почему да как может родиться великая литература в аракчеевские времена. Объяснение именно в этом:

пережитое, особенно если с народом, с миллионами людей пережитое,— вот почва и одновременно материал большой литературы.

Среди бесчисленных сюжетов научно-фантастической литературы возможен и такой. Вообразим себе, что вопреки пессимизму нашего великолепного астрофизика И. С. Шкловского Млечный Путь нашпигован «мыслящими планетами» — сверхкибернетическими цивилизациями, на фоне которых наша земная цивилизация выглядит обидно до слез сермяжной («шарачковой», как говорили о старой белорусской деревне). Те, другие, следящие за нами глазищами «летающих тарелок», давно могли бы сверхцивилизовать и планету землян, попутно избавив их от войн и тиранов. Тем более что под своей, мантией старушка Земля прячет нужные позарез драгоценнейшие минералы, металлы... Но такая колонизация не прельстила инопланетян. Минералы они добудут и на других небесных телах, а с этой планеты, самой для счастья не оборудованной, а потому и самой мечтательной при всей ее жестокости и нерадушности, они получают, вывозят то, чего не производят сами, давно не производят — «варварское», «дисгармоническое искусство»: трагедии Шекспира, романы Достоевского и Кафки, философские труды Шопенгауэра, картины Пикассо и т. п. (Картины они подменяют копиями и навлекают этим обидное подозрение на хранителей и директоров музеев.)

Все есть у сверхцивилизованных инопланетян, а этого нет: пронизанного вселенской болью за все живое и сущее искусства. Их планеты давно, слава богу, высушены от слез и крови. Одна лишь осталась «от коры до центра» (Достоевский) кровью и слезами пропитавшаяся — планета Земля. Ее они и держат, сохраняют, как заповедник, не решаясь нарушить естественный ход развития, пусть жестокий, пусть варварский во многих отношениях, но рождающий Шекспиров и Достоевских, Бетховенов и Толстых.

Но ведь и нас самих могут посещать эгоистические чувства и жестокосердные расчеты, подстать тем, какими руководствуются нафантазированные инопланетяне. Троянская война, гибель Трои — конечно же, это было бедствие для тысяч и тысяч женщин, детей, жителей города, окружающих поселений да и самих солдат, умирающих, искалеченных. Но потом ведь родилась «Илиада» — нет, пустовато было бы без нее у истоков мировой литературы! А «новая Илиада», как называли «Войну и мир» при ее появлении! Тут уж нам действительно могли бы позавидовать и сверхцивилизованные... Но мы-то, земляне, своей кровью и муками своими оплачиваем будущие шедевры. И получают их как раз новые поколения, а не те, что проходят по колено в крови через огонь.

Все это и печально и верно, но ведь и этим, все испытавшим поколениям, некто тоже покинул и боль свою, и красоту. А у следующих за нами свои будут испытания, и кто знает, какие! Так что все и всем обязаны, все друг другу задолжали, хотя одни больше, а другие, может быть, меньше. Общий путь у человечества — и уже это счастье, если на каком-то историческом или географическом отрезке он не пустой позади. А не пустой он, если вехи остаются, остались — от общества, от народа, от эпохи. Разные бывают вехи, и многим мы поклониться готовы. Но все же самые нетленные, долговременные из них — великие произведения искусства. Нет, не нам, людям, желать себе и другим новых и новых испытаний — ради новых шедевров! Но уж коли есть, были, ждут людей испытания, так пусть, по крайней мере, не постигнет никого историческая судьба греческого племени сибаритов, от которых остался... ночной горшок. Ночной горшок и ничего больше — от всей их истории, забот и терзаний!

Закруглим эти наши рассуждения великолепными словами Александра Твардовского, прозвучавшими с трибуны XXI съезда партии:

«Подтверждать и закреплять действительность — не слишком ли много берет на себя литература? Нет, она берет на себя как раз ту функцию, которая свойственна и принадлежит ей по праву, как и всякому другому искусству...

Разве война и победа русского оружия в 1812 году означала бы столько для национального патриотического самосознания русских людей, если бы они знали о ней только по учебникам истории и даже многотомным ученым трудам, если бы, Допустим на минуту, не было гениального творения Толстого «Война и мир», отразившего этот исторический момент в жизни страны, показавшего в незабываемых по своей силе образах величие народного подвига тех лет?..

То же самое можно сказать о литературе, которую вызвал к жизни беспримерный подвиг советских народов в Отечественной войне 1941-1945 годов. Он подтвержден И закреплен в нашем сознании, в том числе в сознании самих непосредственных носителей этого подвига, средствами правдивого художественного слова.

Да, литература подтверждает и утверждает действительность, достоверность великих свершений своего времени, и в этом именно смысле возрастает ее незаменимая роль в свете тех предначертаний нашего победного продвижения вперед, к коммунизму, какие дает XXI съезд нашей партии.

Но литература, как и другие искусства, способна подтверждать только то, что не является навязанным жизни извне, а что составляет

ее существо и правду, органическое и закономерное следствие ее поступательного движения. В иных случаях она не в силах этого сделать. Скажем, гитлеровская пропаганда античеловеческих фашистских идей не могла и не смогла вызвать к жизни ни одного сколько-нибудь значительного произведения искусства»[1]

* * *

То испытать и то пережить, что выпало на долю наших народов, принявших на себя главную, может быть, историческую ношу XX века,— это значит и понять многое, очень многое о себе, о человеке, о человечестве.

Француз Камю сделал пьесу по «Бесам» Достоевского. Пьесу на этом же «материале» написал и Юрий Корякин. Не будем сравнивать таланты, но, именно зная силу таланта нобелевского лауреата Альбера Камю, не можешь не поражаться, насколько он книжен в своей интерпретации Достоевского, как ему трудно дается живое, реальное понимание того, что без усилий постигает Юрий Корякин,— масштабы пророческой силы и даль мысли автора «Бесов». Впрочем, Корякину помогает и само время — уже наше время, когда стало особенно очевидно, что левый экстремизм в открытую смыкается с империализмом — на маоистской основе.

Но как это важно и как много значит для писателя — исторический опыт его народа. Через него художник лучше понимает (а если опыт недостаточен, то не понимает) также и другие народы. (Как мы через себя, через свой внутренний мир проникаем в миры других людей.) К. Симонов справедливо говорил: расспрашивайте и записывайте народ, если хотите знать всю правду об Отечественной войне! Спросите свой народ! Но и чужой спрашивайте, добавим мы. Потому что свой опыт неизбежно односторонен.

На международной встрече писателей «военной» темы, которая проходила в Москве в 1975 году, где в центре стояла гуманистическая проблема: ответственность художника за судьбы своего народа и всего человечества, выступил американский писатель Р. Крайтон и посетовал, что советская литература о войне ни в чем не знает меры. «Монументальные памятники в городах-героях и ваша литература о минувшей войне, видимо, заменяют вам религию»,— сказал он. Говорил это писатель прогрессивных взглядов, известный в Америке «смутьян» — борец против вьетнамской войны. Но наши чувства и нашу память о войне ему было не понять. Да и невозможно это,

---

[1] Твардовский А. Т. Собр. соч. В 5-ти т.—М., 1971 Т 5 с 277—279.

очевидно, понять до конца, если твой народ жил далеко от полей сражения. Или видел не совсем ту войну[1]. Другой американец, побывавший в Хатыни, сам об этом сказал. Слова его мы уже приводили в книге «Я из огненной деревни»:

«Трудно почувствовать полностью глубину мучений другого, если сам не узнал беспредельность трагедии. Я пришел к выводу, что данные о тяжких испытаниях Белоруссии выходят за пределы моей способности постичь и осознать трагическое. Четвертая часть ее населения убита, и восемьдесят процентов ее территории превращено в пепел. Как представить такое? Это было бы подобно трудно вообразимой картине: более пятидесяти миллионов американцев убито и вся наша страна разрушена, за исключением ее восточного побережья»[2].

«Новый мир» в 1979 году опубликовал роман Германа Канта «Остановка в пути» — произведение немецкой литературы на редкость глубокое и точное по нравственному чувству. Немцу нелегко честно писать об этой странице истории своего народа — о второй мировой войне. Но Герман Кант умеет правду поставить превыше всего — над любыми чувствами и предрассудками. Впрочем, он не склонен считаться с чувствами (если они ложные) многих из своих земляков. Это Герман Кант написал в газете «Нойес Дойчланд» (а «Литературная газета» перепечатала):

«Знаю, знаю, у всех у нас есть родственники, которые время от времени рассказывают нам, что помогали пленным, невзирая ни на какие препятствия, и что наши отцы были сама доброта, когда этого никто не видел

Я не подвергаю сомнению то или иное доброе дело той или иной доброй тети, и я знаю, что среди наших отцов были и такие, что вели себя смело. Я хочу только напомнить, что необходимо было сверхмужество, чтобы перевязать истекающего кровью человека, если этот человек был родом из Киева или из Ленинграда. И подобное мужество встречалось отнюдь не так часто, как хотелось бы верить, слушая нынче рассказы родственников»[3].

Не знаю, читал ли Герман Кант «Нагрудный знак «Ост» В. Семина, где рассказана правда о немецком населении, как ее знают, помнят бывшие пленные Советские военнопленные, которые за полгода лишь один раз нашли на столбике кем-то из немцев положенную для

---

[1] Во время выступлений в ФРГ, где мы читали и рассказывали о наших Хатынях, голландская писательница нас упрекнула: «Мы тоже воевали, но о войне уже почти не пишем. Ведь тридцать лет прошло!»
[2] Литературная Россия, 1972, 22 дек.
[3] Кант Г. История и предыстория,—Литературная газета 1979 19 сент.

них конфетку. Если и не читал эту книгу, то, безусловно многое другое читал, знает Герман Кант и потому не склонен очень уж доверять запоздалой памяти «родственников»[1].

Да, конфетка та многого стоит — в условиях фашистского озверения и одурения. Она как апокрифическая луковица для грешника, которую он когда-то подал страждущему и за которую вцепился, держится, чтобы его вытащили из адской смолы. И выбрался бы, спасся, если бы не повисли на нем гроздью другие, кто никому не подал даже луковицы...

Большое достижение и много значит для национальной литературы — уметь слушать свой народ, подключаться к его памяти. Но в сегодняшнем мире особенно важно еще и другое —умение слышать голоса соседей, другие народы, их память и исторический опыт. И это дается непросто, нелегко людям. И литературам тоже.

Среди неизжитых и опаснейших противоречий и проблем века — все тот же старый шовинизм и агрессивный национализм, сегодня маскирующиеся, охотно рядящиеся и в «социалистические» одежды. (Чем не пренебрегал, кстати, даже германский нацизм.) Не кто иной, как Толстой, назвал национализм и шовинизм, прикрываемые «патриотизмом», «последним прибежищем негодяев». Не из-за этого ли укрытия выскакивают и набрасываются — снова и снова! — на людей новые и новые убийцы. А стены укрытия, убежища, за которыми прячутся бывшие и копятся будущие убийцы народов,— из чего они сложены, возводятся? Не из предрассудков ли и честных людей, их беспамятства и неспособности хотя бы иногда посмотреть на самих себя глазами соседей, со стороны? Все перед всеми всегда правы! А кто же обидчики? Только не мы! Как-то пришлось беседовать с одним турецким журналистом, и он очень недоумевал, что «немцы могли такое творить, о чем вы написали». (Он прочел опубликованные «Октябрем» наши документальные рассказы о зверствах нацистов в Белоруссии.) Человек недоумевал, расспрашивал, а меня мучило другое: ведь он совершенно искренне не помнит, забыл ту страницу истории, которая миру известна как «армянская трагедия»! А забыл, не помнит потому, что память эта неприятна ему...

---

[1] В интервью, напечатанном в «Вопросах литературы» (1979, № 10), Герман Кант сказал: «Говоря об этой воображаемой библиотеке, которая послужила предпосылкой для того, чтобы я мог написать «Остановку в пути», я имел в виду, разумеется, всю литературу о второй мировой войне, среди которой для меня, что вполне логично, особую роль играет советская и польская» (с. 190).
И еще — там же: «...многое в моей книге не лишено полемичности, хотя, может быть, я сейчас эту намеренную полемичность и преувеличиваю, В сознании многих наших людей, особенно молодых фашизм стал почти сугубо западногерманским делом,,.» (с. 196).

Осенью 1978 года мы, небольшая группа литераторов, «связанных с кино», побывали в ФРГ по приглашению писательской организации «Когге». Встречались с читательской и зрительской аудиторией, с писателями и студентами, бывали дома у добрых и гостеприимных людей — в Миндене, Ерлангене, Нюрнберге, Мюнхене. В общем и впечатления от людей, нас принимавших, самые хорошие, а беседы, даже споры — потому что и мы не стеснялись говорить, рассказывать, например, о наших Хатынях,— все проходило без предвзятости, с желанием услышать друг друга. И та застольная историйка, о которой я хочу рассказать, не была каким-то вызовом или желанием оскорбить чьи-то чувства — ничего подобного! Она тем и поучительна, что люди, вполне доброжелательные, продемонстрировали и обнаружили, как это непросто, нелегко порой бывает — друг друга услышать и понять. Валентин Ежов заговорил о том, что в ГДР будет ставиться немецко-советский фильм, где рассказывается о берлинском мальчике: его глазами — агония столицы фашистского рейха и т. д. И о удача! Один из наших гостеприимных хозяев — как раз такой бывший берлинский мальчик!..

Что, как вы помните? — нам, конечно, любопытно. С братиками и сестричками, с матерью сидели в подвале, а все рушилось, дым, пламя... И вдруг дверь распахнулась: на пороге солдат с автоматом и в ушанке! (Бог его знает, может, и был в ушанке? А может, потому, что в ужасе ждали такого: по плакатам!) Вошел, ничего, и вдруг вскинул автомат и застрочил.

— По вас?

— По портрету. Отца портрет.

Сказал об отце, и на глазах слезы, голос пресекся. Неушедшая детская или уже взрослая обида... За отца, за портрет? Или за пережитый испуг?

Я не выдержал — все-таки белорус!

— Не по детям, а по портрету?

— Да...

— В мундире был? Отец ваш.

— Да, конечно...

— А вы не подумали — не тогда, сейчас,— что где-то в Белоруссии или на Украине такой вот в мундире тоже прострочил — но не по фотографии, а по живым детям? И это могли быть дети того солдата в ушанке.

— Мой отец?!

Было, конечно, но чтобы «мой отец»!.. А чьи же отцы и руки это натворили?[1]

Как это нелегко, непросто человеку выйти за границы своего и своего народа опыта, чтобы совместно с другими искать выхода из «лабиринта тысячелетий», но не по-ницшеански, не с ножом в зубах искать, а по-человечески.

Взгляд народа на самого себя со стороны — глазами близких и дальних соседей — что и говорить, нелегкая и не очень привычная для национальных литератур проблема. Еще Гёте об этом говорил, и он подчеркивал, что будет очень полезно, «если мир заставит нас задуматься о самих себе».

Это не одних немцев касается. Естественно. Но в Европе, по-видимому, в первую очередь немцев — после того, как они позволили милитаристским силам превратить детей Германии в убийц, говоря словами их бывшего фюрера, «целых расовых единиц».

И выдающиеся немецкие писатели двух Германий это остро сознают и говорят об этом в своих романах, своими романами.

При встрече пленного немца с советской женщиной-врачом вдруг заостряется (Герман Кант смело заостряет) внимание на слове «немец» — как оно звучало в 1945 году для многих, очень многих.

«Она шевелила губами, а глаза при этом прикрыла, и потому казалось, будто она испытывает какое-то слово, прислушиваясь к его звучанию.

Слово — я тотчас понял какое — было одним и тем же, но выражение ее лица менялось при каждом повторе.

Так я хоть и не слышал, но очень четко видел, на сколько разных ладов можно произнести слово Deutscher — немец... Deutscher — немец — обычное слово из девяти букв. Осмысленная мешанина из зубных и латеральных, дифтонга и аффрикаты. Обычное слово, как индеец или негр»[2].

Нет, Герман Кант не из тех немцев, что прячут голову в «песок забвения» и надеются, что другие люди в других странах вслед за ними проделают то же самое. Он знает, что вся правда нужна,

---

[1] Этот добрый немец до сих пор не смог установить связи между «причинами» и «следствиями» многих вещей и поступков, которые имели место в годы войны и после войны. Именно такие связи устанавливать немцам помогает литература, которую делают Герман Кант, Зигфрид Ленц, Генрих Бёлль...

«Нет, ничто такое во мне не шевельнулось,— читаем мы у Германа Канта,— не видел никакой связи между моим погибшим отцом и погибшими русскими, или погибшими поляками, или погибшими французами. Мой отец был мой отец, и только его смерть что-то значила... Мне понадобилось огромное количество кирпича и железных решеток, и мерзкой болтовни вокруг, и шумливых надсмотрщиц, и сникших гауптштурм-вояк, пока я научился взаимосвязанно думать о своем отце и о некоторых других живых и мертвых людях» (Новый мир, 1979, № 12, с. 162).

Это Герман Кант — о себе и таких, как он, немцах 1945-1947 годов. А с тем, минденским жителем, разговор был уже в 1978 году.

[2] Новый мир, 1979, № 9, с. 163.

необходима прежде всего и больше всего самим немцам, немецкому народу.

«Немец. Этот человек — немец. Он немец, как Лютер. Он немец, как Гёте. Он немец, как Гейне...»

Она замолчала, она и впрямь замолчала, только едва заметно шевелит губами, нет, скорее уж это едва уловимая дрожь, и означает она только одно слово, неслышно и все-таки с разной громкостью произнесенное слово, и это слово — «немец», она подвергает его проверке, точно наносит на него разные краски: немец — это немецкий язык и Лютер.

Немец — это немецкий язык и язык Гитлера.

Немец — это немецкая история, барон фон Штейн и Сталинград.

Немец — это немецкая литература, это Вальтер фон дер Фогельвейде, это еще: «В бой за земли от Нордкопа до Черного моря, в бой, весь народ».

Немец — это книгопечатание и Нюрнбергский закон, Генрих Птицелов и Генрих Гиммлер, Ульмский собор и разбомбленные церкви Роттердама, Роберт Кох и эвтаназия, сочельник и воскресенье 22 июня 1941 года»[1].

Вспоминается первая поездка в страну, где звучит немецкая речь, и как это было странно — привыкать, что в маршевых радиоритмах нет ничего обязательно фашистского. И что слово «Halt» на фанерной стойке, о которое споткнулись глаза, не угрожает немедленным выстрелом, а всего лишь предупреждает, что открыт люк на мостовой, т. е. о тебе же забота. А когда запели народные песни, мчась в ночном автобусе сквозь леса Северной Германии, и пели их по-немецки громко, как бы с вызовом громко, вдруг подумалось: а ведь им неловко отчего-то, поющим. И им и нам неловко. Какая-то неправда и недосказанность в этом пении, желание забыть и не помнить. Да, страшное бывает похмелье, когда народ поддался сладенькой дудочке крысолова и пошел, куда повели. Обещали ему все, что угодно, чего только ни обещали, но не дали, а отняли — все: даже доброе имя, даже язык, даже песни отняли. То, что всегда звучало как немецкое (равно как польское, французское, английское), зазвучало для всей Европы да и всего мира как фашистское. Ведь и песни народные гитлеризм превращал в орудие пропаганды нордического, арийского превосходства немцев над «низшими расами».

Похмелье бывает тяжелое, и тогда бывшие «сверхлюди» как высшего признания сильнее всего жаждут, чтобы забыли, кем они

---

[1] Новый мир, 1979, № 9, с. 163.

хотели стать или их хотели сделать, и чтобы смотрели на них просто как на людей, на обыкновенных. Оказывается, это так много, это самое великое благо и признание — быть обыкновенными, считаться обыкновенными! Не «сверх» чем-то там, а просто людьми, человеками. Как за тем столом в кабачке западногерманского городка Миндена, где как раз об этом подумалось. Дружелюбные хозяева сидели рядом с французом, голландцем, евреем, русским, белорусом, все разговаривали, все шутили, улыбались, но и тут казалось: прошлое висит над нами, и чем они обыК. новеннее, тем заметнее их стремление быть, к а к все люди, просто людьми. Надо, оказывается, еще заслужить, чтобы тебя снова приняли в разряд «просто людей». После того, как крысолов увел тебя от них, поманив в «сверхлюди», возврат дается нелегко. И не через забвение прошлого, а через самоочищение I правдой, через суд над прошлым.

Герман Кант беспощаден:

«И врачиха (женщина из Баку.— А. А.) моя, что знает, кого потеряла, и ей давно опостылели стонущие попрошайки и ноющие разбойники, что так недавно еще рвались в Баку, к нефти, а тогда они вовсе не ныли, и ничего не клянчили, и уж тем более ни о чем не молили, а теперь из чистого подобострастия сюсюкали на ломаном немецком и наконец-то, наконец-то, когда дело коснулось их самих, открыли, что существуют сострадание и права человека»[1].

Герман Кант в своем романе «Остановка в пути» рассказал о плене и пленных. О немцах побежденных и плененных. После всего, что фашисты творили в деревнях и городах на оккупированных территориях, после убийств голодом и истязаниями миллионов наших военнопленных, они сами, немецкие солдаты, оказались в руках победителей. Хотя они, большинство, и утверждали, что ничего не ведали и не знали, а тем более ничего такого не делали, и даже сами себя в этом убедили, что не знали и не делали, но сами-то они понимали, какой мести заслужила страна, откуда все это пошло[2]. Если

---

[1] Новый мир, 1979, № 9, с. 163.

[2] Томас Манн в «Докторе Фаустусе» беспощадно точно передал смятение, страх расплаты, охвативший многих и многих немцев в последние месяцы войны и первые послевоенные дни и недели. «Взломаны толстые стены застенка, в который превратила Германию власть, с первых же дней обреченная ничтожеству; наш позор предстал теперь глазам всего мира...» (лагеря смерти и пр.). «И не болезненное самоунижение спрашивать себя: смогут ли в будущем немцы о себе заявить на каком бы то ни было поприще и участвовать в разговоре о судьбах человечества?
Пусть то, что сейчас обнаружилось, зовется мрачными сторонами общечеловеческой природы, немцы, десятки, сотни тысяч немцев совершали преступления, от которых содрогается весь мир, и все, что жило на немецкой земле, отныне вызывает дрожь отвращения, служит примером беспросветного зла. Каково будет принадлежать к народу, история которого несла в себе этот гнусный самообман... который будет жить отрешенно от других народов, как евреи в гетто, ибо ярая ненависть, им пробужденная, не даст ему выйти из своей берлоги, к народу, который не смеет поднять глаза перед другими.
Проклятье, проклятье погубителям, что обучили в школе зла некогда честную, законопослушную, немного заумную, слишком теоретизирующую породу людей! Как благодетельно было бы проклятье, вырвись оно из свободной груди!

бы победившие народы решили мстить. Но победил не фашизм и его дикая, бесчеловечная доктрина, он-то и был побежден. И о мести целому народу не могло быть речи. Чему в глубине души многие, очень многие немцы поразились больше всего. С этого началось просветление, обновление сознания немецкого народа. И тех, кто оказался за проволокой,—, немецких военнопленных. Хотя в трудные 1945-1948 годы, как показывает Герман Кант, было и голодно и холодно, но каждый, у кого оставалась совесть или пробуждалась совесть, понимал, кто в этом повинен. А то, как вели себя советские люди, совсем недавно истреблявшиеся тысячами, миллионами, как вели себя победители по отношению к побежденным,— вот это больше всего и поражало немцев. И действительно не могло не поражать. Хотя большинство и утверждали и даже сами убедили себя, что не знали о зверствах на оккупированных территориях, не видели, не делали ничего такого, что все это дело рук «свиней-эсэсовцев», но ведь и знали и делали слишком многие, а потому и поразились незлобивости и доброте наших людей. Побежденные силой и гневом советских народов в 1941-1945 годах, они были, многие, вторично побеждены, фашизм был еще раз раздавлен — в 1945-1948 годах, и на этот раз именно добротой наших людей. Но со многими немцами это произошло раньше.

Записывая ленинградских блокадников, мы натолкнулись на такой случай, такую историю записали. Женщина нам рассказала, учительница Мотовская Мария Васильевна, как в первые дни войны, когда немцы разбомбили эшелон с детьми, она кричала плененному немецкому летчику: мол, подождите, и ваших детей ждет то же самое! Живая боль и гнев в ней кричали...

И эта же женщина через несколько месяцев, в самый разгар войны и страданий приняла, смогла принять решение, которое и в мирное время, сегодня, принимаешь (мысленно ставя себя на ее место) с превеликим трудом. В Киров, куда ее с ленинградскими детьми эвакуировали, следом привезли пленных немцев.

Но патриотизм, который етважился бы утверждать, что вовсе чужда нашей природе, что никак не коренится в немецкой сущности кровавая империя, сейчас задыхающаяся в агонии, что неизмеримое преступление, которое мы, говоря словами Лютера, «взвалили себе на плечи», преступление, громогласно провозглашенное, зачеркнувшее все права человека, но тем не менее с неистовым ликованием принятое толпой и молодежью, которая, светясь гордостью и непоколебимой верой, шагала под его яркими знаменами,—такой патриотизм мне представлялся бы скорее великодушным, чем добросовестным. Не была ли эта власть в своих словах и деяньях только искаженным, огрубленным, ухудшенным воплощением тех характерных убеждений и воззрений, которые христианин и гуманист не без страха усматривает в чертах наших великих людей, что наиболее мощно олицетворяли собой немецкий дух?.. Наш поверженный наро^ потому и вперяет в пустоту свой обезумевший взор, что столь страшно кончилась его последняя, отчаянная попытка обрести самобытную политическую жизнь» (Манн Т. Доктор Фаустус —М., 1975, с. 547—549).

— Вот там надо было для пленных госпиталь отвести,— рассказывает Мотовская М. В.,— и можно было только одно здание взять, в котором наши ребята были размещены. А вы знаете, как население? «Это преступление! Как так, ленинградских детей, и все такое!»

Вот я помню, вызывают меня в обком и говорят:

— Мария Васильевна! Тут надо занять правильную позицию. Скажите им, что существует международная комиссия для наблюдения, как мы тут этих немцев устраиваем. А вам хорошее помещение дают.

— И переместили все-таки детей?

— Переместили. Ну, детей очень хорошо переместили. я туда ездила. Очень хорошо, а ребятам-то даже весело в новом месте...»

Вот видите, даже хорошее в этом находила, нашла новое место, весело ребятам!.. А за этим — чувство что так и следовало поступить: не «как они с нами» а по-человечески. И не для того, чтобы «они» почувствовали или какая-то там «международная комиссия», а потому что это нам самим надо!..

Особенно важно, что такое было возможно и происходило в условиях, когда десятки миллионов людей в Европе и во всем мире настойчивыми усилиями (и не без результата!) «освобождались» от обязанности быть человеком.

к. Симонов в «Разных днях войны» пишет про то, как плененный под Вязьмой немец-фашист реагирует на то что.его не избивают, не расстреливают, а разговаривают с ним, даже вежливо. Пленный на глазах стал наглеть Нашел для себя объяснение: ага, они знают, что через Ш дней «Москау капут», и потому заискивают перед ним — завтрашним победителем!

Что нужно в любых условиях быть, оставаться человеком, он забыл давно. А точнее, не знал, не успел узнать: ведь его «замесили» совсем на других «идеях» слепили болванчика и пустили, направили «обновлять мир» по своему образу и подобию.

Этот не понял, не способен был ничего понять. Но другие восприняли и понесли в себе высший дар человечности, полученный на земле, которую они недавно жгли, заливали кровью.

В цитировавшейся уже статье Германа Канта, написанной для «Нойес Дойчлаид», читаем:

«Военный музыкант К. получил приказ отправиться в Москву, чтобы дирижировать триумфальными маршами на великогерманском параде победы. Правда, приблизившись к фронту, он удивился похожему на бегство встречному движению, но, поскольку фюрер лично приказал ему протрубить на Красной площади Баденвай-

лерский марш, он не уклонился от своего маршрута. Когда же люди в незнакомой форме остановили его автобус и кто-то сунул ему под нос автомат, музыкант К. смог выдавить из себя лишь фразу, идиотскую и гениальную одновременно. Он сказал: «Я никс зольдат, я — трамтататам!..»

Я всегда смеялся над этой дурацкой и вместе с тем исполненной смысла фразой и, наверное, буду смеяться и впредь. Но в газетном киоске у больницы, что стоит недалеко от места, где остановили господина К., я купил «Юманите» и нашел в газете фотографию, которую знает или должен знать каждый. На фотографии — яма, полная людей, как видно, только что расстрелянных. На краю ямы скорчился человек, которого сейчас убьют. За ним стоит эсэсовец, он уже прицелился и сейчас отправит человека в яму к убитым.

...Почему же от той глупой истории с музыкантом я перешел к этой ужасной фотографии? Потому что в больнице, неподалеку от конечного пункта, куда добрались немецкие завоеватели, я рассмотрел ее внимательнее, чем прежде. На ней виден человек, который знает, что в следующую секунду умрет. Перед ним лежат те, чей черед пришел раньше. За ним стоит тот, кто сейчас присоединит его к лежащим в яме. Но есть и зрители.

Можно различить по меньшей мере пятнадцать солдат, и поскольку над правым нагрудным карманом у них орел, они принадлежат к вермахту, а не к «СС». Они с интересом следят за происходящим. Только один офицер, кажется, не одобряет того, что видит. Эта группа с таким же успехом могла бы стоять вокруг гончара, ваяющего вазу.

Но ведь они смотрят не на искусство гончара, а на действия убийцы. Один из пятнадцати — молодой толстощекий ефрейтор с нашивками военного музыканта, и если бы он попал в плен, то наверняка заверял бы, что он никс зольдат, он трамтататам...

Не хочу больше думать о нем. Я думаю о самом себе. И о нас. Я часто видел этот снимок. И слышал много историй, иллюстрацией к которым он может служить. А теперь больница на окраине Москвы, воспоминание об ужасах, которые мы принесли, дурацкий и смешной эпизод из того времени, новая встреча с фотографией, давно мне знакомой,— все это подкрепило мое убеждение: мы должны снова и снова вслушиваться в старые истории, иначе не поймем новых. Мы должны вновь и вновь вглядываться в старые фотографии, иначе не разглядим новых. Мы должны считать все годы, иначе нам не сосчитать по-настоящему наши тридцать»[1].

---

[1] Кант Г. История и предыстория.— Литературная газета, 1979, 19 сент.

Пройти через такую войну, такие страдания и такую ненависть и сохранить «душу живу» — какой для этого «душевный потенциал» должен был иметь народ! Какую силу человечности!

И не мы сами о себе это говорим, а те, что испуганно смотрели, поверженные под ноги, и ждали неизбежной гибели своей нации,— вот это и было самой главной нашей победой в самой тяжелой и бесчеловечной из всех войн.

Когда мы записывали рассказы наших людей о самом страшном — о Хатынях, о голоде в Ленинграде, без конца поражались удивительным проявлениям доброты, человечности, благородства и незлобивости в условиях, когда могло показаться, что в мире остались только жестокость и эгоизм.

Вряд ли много было случаев, когда каратели, кто-нибудь из них проявлял «слабость» и позволял своей жертве спастись, уйти от пули, огня. Но народная память готова сохранять даже эти немногочисленные случаи. Когда, например, немец сорвал платок с женщины, пострелял над ее головой, чтобы видели и слышали другие каратели, и ушел, оставив ее целой-невредимой. А про «чудного немца», который в Борках малорицких плакал от ужаса и горя вместе с убиваемыми, нам рассказали почти все уцелевшие борковцы.

«И так тот немец плачет. Посидит, посидит и опять на двор выйдет. Как станут уже там стрелять, опять в хату придет. Чи то не немец може? Чи то я не знаю, что это такое...»

«Один немец зашел до хаты и заламывал на себе руки. Я видела сама. Так поглядит на тот народ, так вот покачает головой, отвернется и платочком утирался. И все видели — и те, убитые потом люди. Говорят: «Дивись, як плаче...» И он не выстоял, вышел в Старостины сени и упал, сам упал...»

Нельзя не поражаться, какой справедливой и благородной является память народа нашего — при всей ее жестокой правдивости. И если не слишком много таких примеров она удерживает, как этот борковский, так это потому, что слишком мало было подобных случаев. И прав Герман Кант, горько прав, иронизируя над удобной памятью тех бывших немок и немцев «третьего рейха», которые убеждают сегодняшнюю молодежь, что народы-соседи неблагодарны, если забыли, как им помогали, как их спасали...

Сколько доброты, немыслимой ясности и неистребимой мягкости излучали глаза и лица, голоса полесских женщин, когда они нам рассказали о. невиданной жестокости и озверении людском,— это не могут передать по-настоящему ни слова напечатанные, ни фото-

графии! Но и в печатном тексте это, надеемся, можно угадать, ощутить как-то:

«Стали мы там делить добро на сирот. Ну, я и думаю, что как мне плохо, то и другому так же это плохо. Один говорит: что которое дитя от тех, что за немца были,— то оно другое. А это ж все равно наши дети, а то, что мать его и батька невесть где, то что ж оно, дитятко, виновато...

И я благодарю, что лягу и сплю спокойно. Не то что которые: «Дай, дай!..» А я довольна, что лягу спать да переночую спокойно. И благодарю я нашему государству, нашим бойцам, что нас освободили и что у меня осталось хоть немножко деток. Уже и внучки наши полягут и поспят, и сама я лягу, добрые люди, да посплю...»

«А дочка моя с дитем в лес утекла. Один сынок остался... Вернулся раненый тогда. Лечила я ему ту ногу, купала в зельях и целовала ее от радости, что осталось в хате хоть одно дитя...»

«А потом освободили наши. Такие они, ой, идут, такие молоденькие — не солдаты, а деточки. Они ж, как снаряд падает, не кричат, что «война», а кричат «мама». Пообрастали. И я сижу плачу, и они идут. Рады они, что есть хоть наши дети, так они в котелок набрали воды и три сухарика вынули мне, в ту воду намочили и дают — детям есть.

А мы, когда увидели, что наши, так сразу не верили...»

Вот он простой и человечный мир, народной доброты мир, который стоял за нашей сталью, сокрушавшей бесчеловечную фашистскую машину.

* * *

Сбереженная, пронесенная через все века и испытания живая душа народа — не этим ли дышит, не об этом ли прежде всего рассказывает та проза, которую сегодня называют «деревенской». И если пишут и говорят, что проза «военная» и «деревенская» — вершинные достижения современной нашей литературы[1], так не потому ли, что здесь писатели прикоснулись к самому нерву народной жизни. В дискуссии о «деревенской» прозе, которая на страницах «Литературной газеты» горячо была начата статьей Александра Проханова[2], очень скоро и четко определились позиции «за» и «против», но не в отношении того, настоящая ли, большая ли эта литература —

---

[1] См., например, статью Б. Анашенкова «...Как зеркало ИТР»,— Литературная газета, 1979, 17 окт.

[2] Проханов А. Метафора современности,— Литературная газета, 1979, 12 сент.

«деревенская» (.сегодня об этом уже не спорят), а в вопросе: как и что писать о деревне сегодня, завтра...

У меня тоже вертятся на языке рекомендации и прогнозы: ничем другим мы не распоряжаемся так легко, охотно, как будущим. Если бы оно еще слушалось нас столь же охотно!..

В статье А. Проханова «Метафора современности» с наибольшей прямотой и даже (по первому ощущению) убедительно выражена мысль, что блестящая проза (как сказано, «рождающая шедевры») Абрамова, Можаева, Белова, Носова, Астафьева, Распутина добыта ...не на том, что ли, пути. Нашли «золотую жилу», добыли редчайшие самородки, обогатили русскую культуру, язык, как давно писатели не обогащали, но вот беда... Не там искали и не там все это нашли! А за это «деревенщиков» можно упрекнуть в желании «духовного комфорта» и даже в поиске «легкого хлеба». Нет, нет, у А. Проханова это об эпигонах! Но и не об эпигонах тоже, если не прислушаются и не начнут отныне искать «золотую жилу» там, где предвидит ее, предсказывает автор статьи.

Забываем, что «легким» литературный хлеб становится потом, даже не становится, а лишь кажется легким тем, кто не поднимал целину (литературную), не наглотался пыли, ветра и собственного пота. Спросить бы у Абрамова, Можаева, Елйзара Мальцева, Белова, легко ли им было, когда «деревенская» проза делала первые шаги. Да и не первые. И если ей на самом деле стало легче пробиваться и жить, то это лишь благодаря очевидности ее достижений. И еще упорству ее работников. Хотя это и не прямо касается литературы, но вспоминается, как приезжали в Болшево к сценаристам руководящие товарищи из Комитета по делам кино. Приезжали все почему-то парами, и каждая пара восторженным дуэтом вспоминала, какое взаимопонимание было у них с Василием Шукшиным: сценарии его утверждались и запускались буквально за неделю-две! Шукшин был уже мертв, его вопросов можно было не ожидать. Но спросили мы: а почему же тогда его главная киноэпопея — о Стеньке Разине — за столько лет так и не смогла осуществиться в работе? Обиделись. Надо ли помнить, вспоминать, напоминать, когда все мы так любим Шукшина?! И вот сегодня — все так любим «Привычное дело» и «Прощание с Матёрой»! Можно и забыть, не помнить, что говорили, писали вчера...

До чего же мы в одном пункте все похожи — и критики 40-50-х годов и критики 70-х. В убежденности, что настоящая, большая литература — это нам ничего не стоит! Захотим — создадим, а надо, так заменим — на еще более значительную. Вот только прикинем на

литературно-критической карте, куда и как шагать, где свернуть. Никогда у нас не хватает времени просто порадоваться. Сначала не могли потому, что «Привычное дело» и прочее было чрезмерно и опасно не похоже на все знакомое и привычное в литературе о деревне. А когда привыкли, приучили нас упрямые «деревенщики», что можно и об этом и вот так можно, мы вдруг заспешили, засобирались в дальнюю дорогу. Нашли, наконец, зеленый оазис, а нам говорят, что впереди и лучший, и больший — обязательно! Дожидается нас. Куда поспешать все-таки? В день сегодняшний, говорят. Как будто «Прощание с Матёрой» Распутина или «Дом» Абрамова не сегодняшний день нашей деревни и литературы. Другое дело, что в сегодняшнем здесь живут и продолжаются дни вчерашние — острая память русской, да и не только русской, деревни. Хорошо об этом сказал Залыгин: «Деревенская проза» начинается именно с памяти, «которая хотя и принадлежит сегодняшнему писателю, но заполнена в нем десятками поколений... о земле, о земледелии, о земледельце, и не скажешь понятиями только сегодняшнего дня — не та категория, не тот род человеческой деятельности, не тот быт, который поддается мгновенной фиксации. Еще это все то, что мы называем «памятью земли»[1]. Да, в том все дело, что большая литература, которую именуют «деревенской», в настоящее и будущее всматривается сквозь такую же реальную, как и день сегодняшний, народную память о всем пережитом. Она ничего не оставляет позади, все несет с собой, в каждом шаге — вся история народа. А это возможно? Для Залыгина, Айтматова, Белова, Друцэ, Распутина — да. Спросим по-другому: а без этого возможна по-настоящему истинная литература о народной жизни и судьбе, о всем новом, что А. Проханов видит на целине, а другие критики — у себя в республиках? Без всей памяти литература о деревне, возможно, и стала бы «маневреннее» — легче было бы причаливать к любым новым темам и проблемам. Но осталась бы она тем зеленым оазисом, той литературой — истинной, большой? В одной старой книге о гениальности говорится как о качестве, свойстве памяти: степень гениальности в степени готовности памяти. Гений, о чем бы ни думал в каждый данный момент, что бы ни ощущал, думает и ощущает всем пережитым, все, что когда-либо было, думалось, ощущалось со всей силой, всегда присутствует, собрано на острие его сознания, как электричество...

Не так ли и настоящая литература? И ей это надо еще больше. Ведь литература — это и есть воспоминание. Так ее понимал,

[1] Залыгин С. Литературные заботы.— М., 1979, с. 151.

объяснял Лев Толстой. Воспоминание об испытанных нами чувствах, состояниях. Радуемся, плачем, действуем — это еще сама жизнь. Вспоминаем (в процессе писания), как человек радуется, или горюет,— с этого начинается искусство, т. е. воспоминание — это не только определенный жанр, но обязательный момент любого произведения искусства, важнейшее содержимое самой психологии творчества[1]. Не потому ли в прозе, например, несмотря на все призывы и старания критиков, чаще удавались и удаются произведения о «днях минувших», чем о «дне бегущем»,— и ничего с этим не попишешь. Но ведь и о «бегущем» литература рассказывает, вспоминая. Принцип тот же. Но память чем старее, тем многослойнее. «Старая» отличается от «новой», как район города, где постройки разных эпох, от микрорайона новостроек. Но даже, повторяем, когда писатель берет жизнь «с. пылу, с жару», и тогда он не обходится без воспоминания. В работу идут старые заготовки, «блоки» памяти — о себе самом, о чувствах, состояниях, осмысленных за всю предыдущую жизнь. Через память проясняется, обнаруживается, как в реактивах, и то новое в людях, в жизни, чего прежде не знал, с чем не встречался.

Но когда мы ведем разговор о сегодняшней «деревенской» или «военной» прозе, следует подчеркнуть осознанное стремление многих писателей «влить» в свою память воспоминания как можно большего числа людей, очевидцев. Свою память подключить к народной. Удается, не удается, в большой или меньшей степени удается, но тенденция эта усилилась, и не видя, не учитывая этого, трудно понять, оценить многое в современной прозе.

Мне уже приходилось писать о поколении Валентина Распутина, Ивана Чигринова, Вячеслава Адамчика, а также о писателях помоложе — Викторе Козько, о том, как близка, необходима им «чужая» память, как неотторжима от своей. Трудно понять, невозможно объяснить прозу, например, Виктора Козько, не учитывая такой особенности художественного мышления. Войну, о которой пишет, он вроде бы не должен помнить — рождения 1940 года. Но пишет с реальным чувством — и мы это ощущаем со всей силой,— что он все видел, пом-

---

[1] Любопытно об этом высказался Герман Кант, отвечая на вопросы П. Топера: «По-моему, в основе своей роман о будущем — вещь смехотворная, если его не воспринимать верно. А верно его воспринимать можно только в том случае, если и в нем тоже видеть роман о том, что уже произошло. Лем создал будущее, в которое он помещает своих героев и их конфликты. Но если приглядеться повнимательней, эти конфликты есть не что иное, как отклики на уже разыгранные сражения, на вчерашние страсти, на позапозавчерашние триумфы. Все это подвергается вторичной проверке путем перемещения всех обстоятельств в будущее. Словом, я остаюсь при своем утверждении, что «повествовать» — значит производить расчет со «случившимся».
— Всегда?
— Да, всегда» (Вопросы литературы, 1979, № 10, с. 178-179).

нит. Не другие, а он. Сам над этим задумывается и пытается объяснить (в ответ на вопросы автора данной работы):

«Я уже сам не могу себе ответить, когда в памяти впервые были написаны первые куски «Високосного года». Первоначально это был какой-то калейдоскоп, просмотренный, если можно так сказать, в забытом уже детстве, мешанина красок, звуков и запахов. И сегодня мне даже трудно судить, откуда они пришли ко мне, трудно отъединить вымысел от того, что было в жизни. Многое из того, что, кажется мне, помню, я просто-напросто не могу помнить... Мучителен был не процесс письма — я страдал от материала, который был во мне. Он обжигал меня до слез. Я писал не о себе, хотя все в повести в той или иной мере автобиографично, но я и тогда не знал и сегодня не знаю, где в этой помести начинается «я» и где начинается кто-то другой, так, кстати, обстоит дело со всем тем, что написано мной и что пишется. А «Високосный» мой год был о матери, которой я не помнил, из жизни которой в моей памяти сохранилась только смерть ее, не осталось в памяти ни лица, ни глаз, а только сапоги, в которые она была обута, бушлат, который был на ней. Смерть матери — это вторая вспышка моей памяти, второе мое пробуждение в войне. И ощущение вины, не за смерть матери, а за смерть сестры Тамары. Мне трудно было жить без единой родной кровной души на свете. Но могла у меня быть сестра. И сегодня, сейчас мне с трудом даются эти строки. Мать убило шальным снарядом. А мы с сестрой остались живы. Ей два года, мне — три. Я был старшим. И я убежал из разбитого дома от мертвой матери и живой сестры. Заблудился в ночной деревне. Сестра заползла под печь и замерзла там».

Иван Чигринов вот уже сколько лет пишет эпопею о жизни белорусской деревни в годы фашистской оккупации — подробнейшую хронику событий и состояний. Можно подумать, что сам пережил, помнит все — день за днем. Многое и помнит — он постарше Виктора Козько. Но еще больше впитал, как губка влагу,— детской памятью чужую память. Деревни своей, близких людей воспоминания, память самой земли нашей, все еще излучающей жар войны.

Виктор Козько так объясняет свое и других «каноническое пристрастие к определенному человеческому типу», говоря словами А. Проханова, а проще — образы старух и стариков в современной прозе:

«Шел, видимо, уже сорок шестой год, и кое-кто из похороненных, пропавших без вести, возвращался домой. Анисовичи были полны неясными, но радостными слухами: из Лампек вернулся такой, в Козловичи пришел такой-то. Бабка спешила по деревенской улице,

принимала и разносила эти слухи. Рядом с ней бежал и я. Слушал старух и женщин. А в Анисовичах в ту пору, так кажется мне сегодня, жили одни только старухи. Женщины и дети. Мужчин не было. Они, конечно же, были, но в то время потерялись для меня в колхозной работе. Мы, мальчишки, девчонки, жили среди старух. Жили их миром, их представлениями, их пониманием жизни. Мы были старые уже дети. И то, что многие пишущие, вышедшие из того времени, пишут о стариках и старухах, наверное, связано именно с этим, с тем, откуда они вышли. Новое, еще не знающее грамоты поколение уже не будет писать о стариках и старухах. У него есть книги, журналы, газеты, радио, телевизор. А у нас были только бабушки».

У меня нет оснований говорить то же самое о Валентине Распутине, а у него таких признаний мы не читали. Но почему-то думается, что и он объяснил бы свое «Живи и помни» если не таким же, то подобным образом. С поправкой, конечно, на сибирские условия. Проза его, как мореный дуб донной влагой, вся пропитана народной памятью, в его повестях —это память, уходящая в народную даль, глубину.

Но вернемся к спору о «деревенской» прозе. Куда нас кличут из зеленого оазиса этой литературы? В день сегодняшний, завтрашний? Ну а «Прощание с Матёрой» — всенародное наше прощание с крестьянской Атлантидой, постепенно скрывающейся — во всем мире, не только у нас — под волнами энтээровского века,— разве не сегодняшний и даже не завтрашний это день? А «Дом» Федора Абрамова, продолжающий к 80-м годам XX столетия историю северной русской деревни, — о чем же, если не о насущнейших моральных проблемах века повествует, хлопочет эта проза? Не мелочит, а как раз укрупняет она проблемы нашего времени тем, что измеряет и оценивает их реальным существованием реальных, а не только «планируемых» — излюбленное занятие определенного сорта литературы — людей.

Может быть, я не видел, не наблюдал того, что знает А. Проханов, но наше Полесье — осушенное и выровнявшееся, с открывшимися почти украинскими просторами, по масштабам перемен и обновления напоминает целину. И те же вопросы напрашиваются: а что написано, где об этом литература? Что читают новые полешуки? Читают «Полесскую хронику» Ивана Мележа, и вряд ли мы станем их жалеть за это. Да, читают о 20-х и 30-х годах Полесья: как трудно жили люди, предки которых почему-то приросли и душой, и телом, и трудом к этому нещедрому болотному краю. Как трудно жили, но как яростно рвались к лучшей доле. И как люди на болоте и молодыми

были, и счастливыми, и несчастливыми, и добрыми, и злыми — как бывают везде, были и будут — и на болоте, и в пустыне, и на море, и на освоенных новых планетах...

Читают полешуки этого Мележа. А могли бы и другого читать: Иван Павлович Мележ сам говорил, что вначале хотел писать роман или повесть о мелиораторах, об осушении Полесья. Мы не знаем, что получилось бы и что получили бы полешуки. Как говорится: от добра добра не ищут! Нет, ищем... дискуссия.

Когда я слышу или читаю, что людям нужна обязательно о них самих и об их непосредственном деле литература, вспоминаются спорящие слова Толстого — его мысль о том, что люди работают, торгуют, воюют, а в это время совершается самое главное: люди выясняют для себя, что есть добро, а что зло. И как людям жить с людьми. Вот оно — главное и для литературы: не что растят или что и как куют, а что и как «уясняют». И не надо тут говорить о презрении к практической стороне жизни, к труду. У солдат, у партизан Великой Отечественной куда как высоко было понимание важности и необходимости их воинского дела. А что любили слушать, читать — какую поэзию, песню, литературу? Грохочущую, «громкую»? О войне и бое? Этого им хватало и без поэтов. Да, истинные музы не молчат, когда гремят пушки. Но безнадежное это занятие — пытаться перекричать, переорать рев орудий. Тихий голос — как это ни удивительно—на войне был слышнее. Голос поэтов, идущий от сердца к сердцу, слышен был по всему фронту — от Черного моря до Белого. Бессмертный «Василий Теркин» написан именно таким «голосом». И не обязательно о бое, как раз не о войне, а о том, что связано с миром,— дом, дети, соловьи, женщина — вот что было нужнее всего труженикам войны.

Но может быть в мирное время все по-другому и даже наоборот? Кто знает. Каждый может привести и свои аргументы и свои случаи.

А. Проханов говорит об антитезе «машины» и «духа», которой быть не должно ни в хорошей литературе, ни в разумно организованном обществе. А вот для меня, например, обещанием такой гармонии будет как раз целинник с «Последним сроком» Распутина в кабине сверхсильного трактора.

* * *

Ну, а если вдуматься, разобраться: зачем она ему— черному от пыли и мазута, молодому и веселому — повесть о том, как умирает старуха. Не ради чего-то или за кого-то погибает, а потому что срок

пришел, и надо пройти и через эту необходимость и неизбежность — умереть.

Умирает старуха. И еще умирает Матёра. В другой повести Распутина. Обе повести связаны одной мыслью. Мыслью о смерти? И о ней. Человек, а значит, и большая литература всегда задумывались о смерти. Правда, задумывались, задумываются по-разному. Как рассуждают у Залыгина в романе «Комиссия»:

«Ведь как с людьми происходит: с детства человек носится со своей смертью, словно с писаной торбой! Всем о ней рассказывает, нянчится с нею, без конца предвидит ее, на коленях перед нею ползает, предает из-за нее и, смотришь, уже и живет-то ее рабом. И зря! Сознание смерти дано только человеку, и пользоваться им нужно по-человечески, не унижаясь перед животными, которые, о ней ничего не знают! Человека, Коля, над всей другой жизнью поднимает сознание его смертности: что не вечен он, а пока жив — должен быть человеком, делать человеческое дело. У животного этого сознания нету, потому его жизнь и есть скотство, или свинство, или птичья беззаботность, а дела нет. Ты представь, Коля, будто твоя лошадь или корова знает, что лет через десять она умрет,— разве они работали бы на тебя, как теперь работают? Нет, они бы захотели прожить свою жизнь не так!»[1]

Лишь человек смертен — в том смысле, что знает о неизбежном своем конце. Своей и других, всего живого, смертности. И это тоже отличает его, делает осознавшей себя, свое существование, материей — человеком.

Но повести — и «Последний срок» и «Прощание с Матёрой» — все же о другом. Прежде всего о другом — о памяти и беспамятстве. О смысле жизни, человеческого существования. Не смертью, а беспамятством жизнь обессмысливается. А что касается неизбежной смерти — такой, как у старухи Анны из повести «Последний срок»,— о ней в народе говорят: «Умер, как жил». Когда напечатано было «Прощание с Матёрой», критики были сильно смущены вопросом: так заливать или не заливать остров, строить или не строить гигантские электростанции? Как будто об этом повесть. «Прощание с Матёрой» о другом: остров умрет, как умрет старуха, как умирает, «уходит под воду» огромнейший материк старого крестьянства; печаль и о них, но еще большая — о вас, остающихся.

Кто вы, какие, с чем остаетесь —если смотреть не вашими глазами (кто и когда видел самого себя таким, каким есть на самом

[1] Залыгин С. Комиссия,— М., 1976, с. 179.

деле?), а глазами старух-матерей и Матёры, глазами самой земли, планеты, в которой людей больше, чем на которой?..

«Дарья стала объяснять:

— Путаник он несусветный, человек твой. Других путает — ладно, с его спросится. Дак ить он и себя до того запутал, не видит, где право, где лево. Как нарошно, все наоборот творит. Че не хочет, то и делает. Это не я одна вижу, что мне такие глаза дадены, и ты, ежли посмотришь, увидишь. Приглядись, приглядись хорошенько. Ему смеяться совсем неохота, ему, может, плакать надо, а он смеется, смеется...» «Ты говоришь: пошто жалко его? А как не жалко? Ежли на гонор не смотреть — родился ребятенком и во всю жисть ребятенком же и остался. И бесится, дурит — ребятенок, и плачет — ребятенок. Я завсегда вижу, кто втихомолку плачет. Ни власти над собой, ни холеры. А сколь на его всякого направлено — страшно смотреть. И вот он мечется, мечется... По-пустому же боле того и мечется. Где можно шагом продти, он бежит. А ишо смерть... Как он ее, христовенький, боится! За одно за это его надо пожалеть. Никто в свете так не боится смерти, как он. Хужей всякого зайца. А от страху чего не наделаешь...»[1] И как итог трудной ее жизни: «Я не знаю ишо такого человека, чтоб его не жалко было»[2].

Да, жестокие слова! Но и любящие. Истинно любящие, а потому и жестоко правдивые. Жалеть ли надо человека, надо ли его жалеть?

Играться подобными «вопросами» литература еще могла во времена, когда Заратустра и его «нагорные» проповеди «антиморали», презрения к состраданию воспринимались, как всего лишь бунт против рутины и лицемерия. А потом объявились «дети Заратустры» с эмблемами смерти на эсэсовских мундирах...

У Распутина прямое и открытое обращение к высокой традиции русской литературы — не стыдиться жалости к человеку. Сострадание, говорит любимый герой Достоевского князь Мышкин, главнейший и, может быть, единственный закон существования всего человечества...

Но сострадание в повестях Распутина особенное: глазами самих страдающих, сердцем именно страдающих жалеет (и судит) писатель тех, что, казалось бы, не нуждаются в сострадании, не ищут, не просят его, не подозревают даже, что жалеть их надо.

Вот молодой, здоровый, идущий в жизнь внук бабки Дарьи Андрей. Простоват, не злой, хотя и без активного чувства доброты —

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой,— В кн.: Повести М 1976, с, 119, 121
[2] Там же, с. 96.

но что его уж так жалеть? Не его «затопляют», не у него жизнь на исходе. А жалеют в повести его — Дарья...

«Она (Дарья.— А. А.) помнила хорошо: со вчера, как приехал, и по сегодня, как уезжать, Андрей не выходил никуда дальше своего двора. Не прошелся по Матёре, не погоревал тайком, что больше ее никогда не увидит, не подвинул душу... ну, есть же все-таки, к чему ее в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завел мотор.

Прощай и ты, Андрей. Прощай. Не дай господь, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой»[1].

Так о чем же повести? И кто кого жалеет? Матёру жалко или тех, кто остается без Матёры? Старуху Анну — умирающую или ее детей — остающихся?

Повести Валентина Распутина «жалеют» беспамятных, легко живущих, легко расстающихся со всем — с Матёрой ли, с матерью ли... Жалостью Матёры-земли, жалостью старухи Анны строго и даже жестоко судит Распутин все еще неразумных сыновей земли... И себя среди них, потому что и это в традиции большой русской литературы — не ставить высокой стены между собой, автором, и остальным «грешным миром»...

«...А вы-то какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит — кто до нас был и кто после нас придет. Мы тут в самой малой доле на ей. Дэк пошто ты ее, как туё кобылу, что на семерых братов пахала... ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать отвел. Она не твоя. Так и нам Матёру на подержанье только дали... чтоб обихаживали мы ее с пользой и от ее кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтобы вы жисть прожили и младшим передали. Оне ить с вас спросют. Старших не боитесь — младшие спросют...

„ — Человек — царь природы,— подсказал Андрей.

— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет, да загорюет»[2].

Памятливость и беспамятство — отчего об этом вдруг задумалась наша литература? Что ищет в этом, какие ответы?

И если для сибиряка Валентина Распутина в памяти, памятливости спасение («Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни»[3]), то для автора «Судного дня» белоруса Виктора Козько

---

[1] Там же, с. 127.
[2] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 109.
[3] Там же, с. 158.

память, памятливость — это нечто и враждебное, что человека убить может, добить того, кого война пощадила... Так что есть и у этой проблемы своя «география», не все тут однозначно.

Не однозначно, сложно это и у Распутина: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.

Но она понимала: это не вся правда. Предстояло подниматься и идти, чтобы смотреть и слышать, что происходит, до конца, а потом снести это сполна виденное, слышанное и испытанное с собой и получить взамен полную правду»[1].

Говоря по-иному, только сверяя, сверив свое, нынешнее с прошлым, с опытом предыдущих поколений, которые «стали землей», можно надеяться получить «полную правду».

Чем могущественнее делается рука человека, изобретательнее технический ум, тем «упрямее» пишет литература о «душе», о психологической связи с прошлым... Отчего так? Действительно из упрямства? Ностальгия по ушедшему? Или еще что?..

Нет, именно технический век потребовал этого, сам он побуждает литературу делать акцент на этом.

Не учитывая всех последствий затопления или, наоборот, иссушения какой-то части территории, люди рискуют столкнуться с необратимыми отрицательными последствиями, результатами. «Век техники» — люди в этом неоднократно убеждались. Ну, а человек, его «преобразование» — разве это менее сложная, ответственная и рискованная деятельность? Если в обращении с «неживой природой» приходится быть столь осмотрительным, бережливым, то сколько же чадо знать, учитывать, сколько всего помнить, активно формируя общественное, человеческое сознание и самоё жизнь общества! Ведь и здесь возможны «необратимые потери». Не оттого ли «деревенщики» так судорожно рвутся спасти, вынести на высокое, сухое, видное всем место все то в народной жизни, чего техника не родит, машина не воспроизводит и что может навсегда исчезнуть вместе с погружающейся Атлантидой старого крестьянства.

А там, где прошелся огненный каток войны, например в Белоруссии, в белорусской литературе, этому сопутствуют и еще кое-какие психологические моменты. «Миграционные» мотивы и психологические, социальные проблемы деревенских людей, торопливо обживающих городскую жизнь, сближают белорусскую «деревенскую» прозу с шукшинской. Хотя для большинства из них, выросших на традициях мягко-лирической или эпической прозы

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 158.

Коласа, Горецкого, Чорного,— и для Стрельцова, и для Кудравца, и для Сипакова, и для Жука — мало свойственна та взъерошенно-ироничная, нервная интонация, что пронизывает шукшинский рассказ о городских блужданиях сельской души. А если произведения наших «деревенщиков» проецировать на прозу Белова, Можаева или Распутина, то проявится и еще одна особенность — резкое, острое присутствие «военной памяти» во всем, о чем бы мы ни писали, ни вспоминали. И распутинская деревня войну помнит и поминает недобрым словом. Но из своей сибирской дали и помнит, и поминает. Как старуха в «Последнем сроке», которая в свой смертный час ждет не дождется после войны уехавшую на Украину младшую дочку.

«— А там, где она теперь и живет, там война шла или нет?

Старуха боязливо покосилась на Люсю и сжалась, вдавливаясь в постель.

Ей ответил Илья:

В Киеве? Киев немцы брали — ага. Это я точно помню.

— Ну дак и от,— с горькой правотой закивала себе старуха и запричитала:— Дак она пошто такая-то? Она пошто у людей-то не узнала? Я бы рази туды поехала? Она в кого такая беспутная-то? А я ее жду. Да рази оттуль теперь выберешься?! Ну. Это ить она сама голову в петлю затолкала, сама. Это подумать надо.

— Подожди, мать, подожди,— перебил ее Илья,— Ты с луны, что ли, свалилась?! У нас война-то когда кончилась?

— Все равно.

— Что «все равно»?

— А где тогда она, где? Почему ее тут нету?»[1]

Понять можно старуху, сибирскую женщину. Как нелегко эта далекая война ей далась, как дорого обошлась, если и теперь у нее такой страх за дочку, которая, беспутная, туда поехала! Это возвращение войны в память сибирской женщины. А из памяти «деревенских людей» Стрельцова или Козько война и не уходила никогда, никогда не уходит. И не уходит из нашей «деревенской» прозы. Даже если о молодых, послевоенных поколениях повествуется. Старые люди забыть не могут. Молодым напоминает память отцов, земли память. И литература наша напоминает. Хотя память — это и нелегкое бремя для души человеческой. А насколько нелегкое — об этом повесть Виктора Козько «Судный день».

Можно и так взглянуть на путь нашей литературы о Великой Отечественной войне: чья память в ней главенствует, определяет ее

---

[1] Распутин В. Последний срок.— В кн.: Повести, с. 519.

тональность — на том или ином этапе? Солдата, партизана память или же тех, с кем война обходилась особенно жестоко,— женщины, дети. Если всмотреться, вчувствоваться в то, что писалось сразу после войны, когда раны, казалось бы, особенно ныли, болели, там было больше не правдивой памяти, не реального чувства боли, а откровенного расчета, стремления заново «перевоевать» войну, да так, чтобы неудач, трагедий, жертв было как можно меньше. Чтобы и жертв, и побед было не столько, сколько на самом деле было, а сколько мы должны были имет ь...[1]

Затем, в 50-е, 60-е и в начале 70-х годов пришла пора личной, солдатской и партизанской, памяти в литературе о войне, как бы отрицающей прежнюю усредненно-безличную. Это был ренессанс исповедальной литературы, пронизанной живым, полемическим чувством правды, искренности. Чувством гордости и боли и за живых и за мертвых: «Живые и мертвые», «Пядь земли», «Последние залпы», «Танки идут ромбом», «Наш комбат», «Журавлиный крик», «Атака с ходу», «Сотников», «Птицы и гнезда», «Огонь и снег», «Сосна у дороги», «Пущанская Одиссея» и многое другое, написанное Симоновым, Баклановым, Бондаревым, Ананьевым, Граниным, Быковым, Брылём, Шамякиным, Науменко, Карпюком и др.

Этот период и путь «военной» литературы плодотворно продолжается и сегодня — «Сашка» Вячеслава Кондратьева, «Навечно — девятнадцатилетние» Григория Бакланова, «Печаль белых ночей» Ивана Науменко...

Но если обозревать «военную» литературу в целом и особенно ее документальное крыло, нельзя не отметить постепенный сдвиг «фокуса», переакцентацию памяти — в сторону женских и детских судеб в войне. А это означает и новый накал чувств и непривычную даже для «военной» прозы боль памяти.

Это, пожалуй, особенно замечаешь в современной белорусской литературе. У того же Виктора Козько. Мы приводили слова из его автобиографии о гибели матери, о «вине» его, трехлетнего, в смерти двухлетней сестрички, замерзшей под разбитой снарядом печкой...

Вот когда они познавали и темный ужас смертей и смутное начало вины — в возрасте самом невинном.

«Мне иногда говорят, что все, о чем я рассказываю, вспоминаю, я придумал. В четыре, даже в пять-шесть лет я не смог бы столько

---

[1] Даже в 60-е годы, когда уже писали о 20 миллионах павших, до чего же затруднительно было «убить» своего героя, даже одиого-единственного! Это известно всем, писавшим о войне и имевшим дело с редакциями журналов.

запомнить. Но я сам помню все. И это нелегко. Особенно стало тяжело теперь, сейчас, когда я понял, что смог бы спасти сестру...»

Тяжело было солдату, партизанам, подпольщикам. Но насколько заостряется показ войны, ее жестокости и бесчеловечности, когда в «фокусе» литературы — дети и их матери, их память! Как сгущаются тени и слепят вспышки памяти!

«— Сам видел,— убеждает Дима немцев.— Папа пришел и винтовку в камешник, к венику поставил...

— Не верьте ему.— У Василисы упало сердце.

Верьте ему, люди. Верьте им, трех-четырехлетним. Они лежат под крестами и без крестов по всей Белоруссии, по всему миру. Но их не убило, потому что они не знают, что такое смерть, и никогда не узнают. Замерзая, заходясь плачем у трупов закоченевших матерей, горя живьем в избах, угасая от голода, задыхаясь в обвалившихся щелях и землянках, захлебываясь в воде, они прокляли мир, в котором их заставляют играть в такие игры. Они никогда не захотят вновь появиться на этот свет»[1].

Это — из «Високосного года».

Детдомовец Колька Летечка — герой «Судного дня» — вместе с жителями полесского городка и «деревенскими» дико ломится в новое здание Дома культуры. Зачем?

«Мужики перли молчаливо и напористо, прижав к груди, бокам руки, сжав зубы, будто исполняли тяжелую, неприятную работу. Бабы, те больше работали руками, простоволосые, в руках сползшие, сдернутые с головы платки; они хлестали этими платками по лицам и глазам мужиков и что-то выкрикивали злое и нехорошее. Но в общем гаме и шуме никто их не слышал и не понимал, будто бабы говорили на каком-то чужом языке... Ему было жутко от этого прорвавшегося вдруг в людях неистового, звериного. Что же должны были представлять из себя эти гады полицейские, если спустя столько лет пробудили такое в людях, человека ли они, на человеков так не ходят смотреть. Что же они натворили тут, какой знак, какую незажившую рану оставили в сердцах людей?»[2]

Детдомовец Летечка не знает ни фамилии своей настоящей, ни имени, ни кто его отец и мать, откуда и кто он сам — отступившая в прошлое страшная война унесла, поглотила и это. Он всю свою мальчишескую жизнь пытался прорваться в прошлое — своей памяти: мучит, давит его собственная «анонимность» на этой земле. И даже

[1] Козько В. Високосный год,— В кн.: Здравствуй и прощай. М., 1976, с. 134.
[2] Козько В. Судный день — Дружба народов, 1977, № 12, с. 39-40.

зная, что при его ранней тяжелой болезни сердца (которая тоже оттуда, из прошлого) смертельно опасно все это,— ломится он вместе с разгоряченной толпой в клуб, на суд. И он снова и снова стучится, хочет прорваться в собственную память, где вздрагивает, мерцает какой-то лучик... Так уж устроен человек, потому что состоит он весь не из чего другого — из памяти. Ну, а если она вот такая — память?! «В других детдомах по всей Белоруссии были свои Летечки, свои Стаси, свои Козелы, повязанные единой судьбой, единым страшным детством, которого многие из них, подобно Летечке, и не помнили, а те, которые помнили, не хотели помнить, хотели избавиться от этой памяти, потому что страшнее этой их детской памяти ничего на земле не было и не могло уже быть. Здесь, на земле, при жизни, только вступив в нее, только открывая глаза, они прошли через то, чему нет названия?»[1] Да, попробуй, найди этому название на человеческом языке — вот этому:

«Он уже не помнил, сколько часов или дней пробирается лесом. Не помнил себя, человек он или зверь. Таких, как он, в ту пору немало было по лесам, отбившихся от матери или отбитых от нее облавой. Мальчишка помнил, что совсем недавно с ним был кто-то живой, видимо, мать. Она то ли упала сама и больше не поднялась, то ли на них густой черной цепью вышли люди в черном, с черными палками, обложили со всех сторон и с криками «Ату их, ату!», сея из палок огонь, загнали в болото и оставили там его уже одного. Оставшись один, мальчишка не испугался. Ведь он с матерью всегда жил в лесу. Первый проблеск сознания нашел его в лесу. И он уже считал, что на земле один только лес. Люди всегда жили и живут в лесу, В лесу, под елями и под соснами, их дом, постель, очаг. Но пришло время есть, начал подступать вечер, мальчишка выполз из болота и побрел по лесу. Инстинкт гнал его к людям. Он хотел до темени прибиться к какому-нибудь жилью и боялся этого. Раз или два за деревьями примечал людей, но не открылся им, затаился в кустах, переждал, когда исчезнут. А потом бросился искать их и не нашел. И вот теперь, подвывая, шел и полз, слепо толкался в кочки головой, размазывая по лицу болотную грязь, ягоды брусники, дурнницы, и звери и птицы обходили, облетали его стороной, не признавая своим. А ему бы сейчас встретить на пути хоть ужа, хоть гадюку — что-то живое, чтобы не так одиноко было, выползти хоть на стежку, на звериную тропу. Но лес был нежилой, пустой,

---

[1] Там же, с. 25.

...Так шагать ему пришлось недолго. Начали попадаться какие-то бревна, цепляться за ноги, будто он, ступил на греблю. Он заспотыкался, голодно заворчал, ему надо было торопиться, хотя и неизвестно куда. Надо было быстрее одолеть дорогу и пробираться к селению, огню, хлебу. И сил у него было только на дорогу, дорогу без бревен. А бревна попадались уже непрерывно, гребля-гать. Мальчишка запутался в них и упал. И тут же из-за леса выскользнула луна, яркая, щербатая, словно была до этого на привязи, моталась, терлась, косо перерезала себя об эту привязь, меньшей своей частью оторвалась, ускользнула в небо и светила сейчас с утроенной силой. И при этом свете мальчишка увидел, что никакие не бревна свалили его, а люди. Люди густо выстелили своими телами дорогу. И мальчишка лежал на человеке, на старике. Тело старика покоилось на бугре, а голова в ямке и задрана в небо. В небо упиралось яблоко острого кадыка, острый, покрытый, как белым сухим мхом, подбородок... На мальчишку смотрели остекленевшие глаза. И эти глаза больше всего испугали мальчишку. Он прянул от них, рванулся встать. Но сучки — руки старика будто ожили вдруг и не пустили его. Мальчишка снова упал, лег лицом на лицо. Своим грязным, но живым на бело-мертвое, холодное, лбом коснулся стеклянных умерших глаз, почувствовал их упругий холодок и закричал. И больше не было у него ни сил, ни желания подняться. Страшно было оторвать глаза от одного мертвеца, чтобы увидеть перед собой десятки других. Рассмотренный им уже в подробностях мертвый старик казался добрым, опасности от него никакой не исходило. Те, другие, были страшнее, они были еще незнакомы ему. Этот лежал и молчал, не шевелился, а те могли ожить, закричать, что это он тут мешает им, уложить рядом с собой.

Мальчишка прижался к старику, заклиная его, прося у него защиты. И, подними сейчас старик руку, заговори, мальчишка бы не удивился, так страстны были его заклинания, так горячи мольбы. Но старик молчал. Молчали и другие мертвецы, только лес скорбно гудел, лунный тоскливый ветер гулял в соснах. И казалось, это мертвые отпевают самих себя. На земле, кроме ветра, луны, нет других плакальщиц, ни одного живого человека. Вымерла земля. Вымерла, если люди вышли помирать на дорогу, не нашли другого места, легли здесь, чтобы напугать его, единственного оставшегося в живых. И старик стал еще дороже мальчишке — уже не как защитник от мертвых, а как единственная связь с живыми, уцелевшая, необорванная ниточка. Было страшно выпустить, оборвать эту ниточку, оторваться от старика, остаться совсем-совсем одному.

Но долго оставаться среди них мальчишка все же не мог. Детским криком прокричала в лесу сова. Он вскочил и побежал. Но бежал он теперь, закрыв глаза, надеясь, что, когда откроет их, дорога освободится от успокоившихся в ее песке. Он бежал и сам теперь кричал совой, пока был еще голос, пока был еще крик. А когда его не стало, когда не стало сил бежать, открыл глаза и свернул к обочине передохнуть во мраке, ничего не видя перед собой. Но и там были мертвые, они не пустили его в лес. Мертвые взяли его в кольцо, обложили со всех сторон, как обкладывали некогда живые. И, хотя эти мертвые были безобиднее тех, живых, которые могли его убить, которые стреляли в него, в его мать, он желал, чтобы из мрака вышли те, сеющие огонь. Если уж им так надо убить его, он не будет больше убегать, не будет прятаться в болото. Пусть убивают, пусть стреляют. Он готов. Лечь на дороге рядом с другими легче, чем шагать и спотыкаться о них, непрестанно чувствовать их присутствие...»[1]

И ведь ни грамма преувеличения, сгущения в фактах. Об этом, о таком вам расскажут, и столь же подробно — как бы не в силах остановиться, хотя, казалось, не могли, сил не было даже начать горькое повествование!— сегодня тысячи людей, только поездите, походите по Белоруссии. Есть эмоциональное заострение, «сгущение», но это потому, именно потому, что писатель смотрит и заставляет смотреть сквозь призму детской памяти. Детскими (и женскими) глазами смотрит наша литература сегодня на то, чего человеку вообще не видеть бы! Тут уж не скажешь, как Валентин Распутин говорит (и говорит справедливо, если делать поправку на «географию памяти»): «У кого нет памяти, у того нет жизни».

Память, к которой устремлен, куда прорывается детдомовец Летечка, сродни неразорвавшемуся, опасному снаряду, которые у нас время от времени откапывают, вывозят, обезвреживают и на которых иногда подрываются.

Подорвется на затаившемся «снаряде» своей памяти и Летечка.

Вот эта память, к которой он с ужасом, но и с облегчением (все-таки вспомнил, кто он, и что, и откуда!) прорвался в тот «судный день»,— она и добьет его, остановит больное сердце Летечки...

«Киндерхайм, киндерхайм»,— осенней мухой бьется сейчас в голове у подростка чужое страшное слово. Он знает, вспомнил, что это слово означает. «Детский дом, детский дом...» Был, оказывается, детдом и у немцев. И недоумение и дрожь охватывают его: немцы, фашисты и — детский дом. И вновь перед ним оживает сверкающий

---

[1] Козько В. Судный день.— Дружба народов, 1977, № 12,. с. 65, 66, 67.

никелем и стеклом медицинский шприц, мужские крупные, крепкие, добела вымытые, пахнущие лекарством и чистым полотенцем руки. Вместо пальцев на этих руках пять черных змеек. Змейки, извиваясь, нацеливают на его тело огромную змею — шприц. Шприц-змея гоняется за ним, жалом целится в его синее тело. И туман. И из тумана два цвета — синий и красный...

Мальчишка пяти-шести-семи лет плыл по белесо-молочному туману. И постепенно выплывал из него. Выплывали сначала ноги, а потом руки, одна, вторая, а потом он заметил, что вокруг люди, такие же, как он, мальчишки, девчонки. Но не обрадовался им. Все они были страшного серо-землистого цвета. И все чего-то ждали, поглядывая на дверь... И мальчишка ждал своей очереди, копил в себе стон и крик. И настала его очередь. Открылась и закрылась за ним дверь. Но он не закричал. Крик застрял у него в горле. То, что он увидел на белом-белом столе, было страшнее страха. На застеленном простынею столе в стеклянных палочках была живая кровь.

И отпрянул синий цвет, все надолго окрасилось кровью. Из красного выплыли пальцы-змейки со змеей-шприцем и указали ему на стол. Он забился под стол, его вытащили оттуда за ногу. Он укусил кого-то, его ударили по лицу. Удара он не почувствовал, его было бесполезно сейчас бить, боль ушла из тела. Тело было деревянным. И от удара лишь деревянно вздулись губы и на губах появился вкус дерева, будто он грыз дерево, и в губы впились занозы. Его бросили на стол. Прикрутили руки и ноги к столу. И тут он закричал, но не горлом, а прикрученными к столу ногами и руками, которые все видели, но не могли защитить его. Видели красные стеклянные трубки с кровью, нацеленную на него иглу — жало шприца. Глаза понимали, что шприц рвется к нему, чтобы взять его живую кровь. Всю до капли. Он останется без крови, и его выбросят на помойку. Весь земной ужас сосредоточился для него на черной, косовато срезанной дырочке шприца. Вся земная боль смотрела на него из этой дырочки. Жало шприца настигло его и впилось, всосалось в его руку. И он снова провалился в бездну, в белесо-молочный, сосущий из него соки туман. Выжатой тряпкой лежал он на чем-то жестком и рубчатом. Быть может, он был даже мертв. Но это его не испугало. Чего бояться, если в тебе нет больше крови, если змея пила ее из твоего тела долго-долго, пока сыто не отвалилась, роняя „кровавые капли, уползла из твоего тела...»[1]

---

[1] Козько В. Судный день.— Дружба народов, 1977, № 12, с. 87-88.

А надо ли так — детскими, женскими глазами видеть и показывать то, чему и названия нет? Верный ли это путь для литературы, на который она сегодня вступает, да и вступила уже — «военная» литература?

К этому разговору мы вернемся еще — в конце книги.

* * *

А пока снова обратимся к «деревенской» прозе и той памяти, из которой она выросла, вырастает. Это и Залыгина, и Елизара Мальцева, и Мележа, и Шукшина, и Абрамова, и Можаева, и Белова, и Друцэ, и Айтматова, и Распутина, и других писателей личная их, детская, юношеская, взрослая, довоенная и послевоенная память, но это и память народная, зачерпнутая из самой глубины.

За страницами «На Иртыше», «Жизни Федора Кузькина», «Людей на болоте» свиток народной памяти, уходящей в века. Вот почему Б. Можаев, споря с А. Прохановым и В. Гусевым — с их «снисходительным» взглядом на «неисторического» будто бы героя «деревенской» прозы, имел право написать: «Отпала необходимость доказывать, что русский мужик не был забитым да темным лапотником с сошкой в руках (конечно, встречались и такие экземпляры), но в массе своей был бойким и сноровистым хозяином, не чуждым участия в общинной и государственной жизни. И технику осваивал быстро, и выгоду хорошо понимал, и от всяких новшеств не отказывался, и в кооперативы охотно вступал... И заводы, и стройки, и всякие ремесла не в диковинку для него были. За короткий срок в начале тридцатых годов наш рабочий класс вырос в несколько раз. Ведь не с луны же свалилось это пополнение. Оттуда же оно пришло, из деревни. Шел на стройки и на заводы не песиголовец, а тароватый русский мужик, имевший за плечами тысячелетний опыт государственного строительства»[1].

«Полесская хроника» белоруса Ивана Мележа пронизана полемическим пафосом утверждения высоких душевных, человеческих качеств людей, живших на болоте,— полещуков, которых молва соседей, а вслед за нею и литература издавна если не презирала, то жалела — за их будто бы бесхарактерность и безынициативность. («Полещуки мы, а не человеки».) А полещуки отвечали в адрес ироничных соседей — тоже иронией: «А за Гомлем людзі е?» — «Е, ды

---

[1] Можаев Б. Где дышит дух? — Литературная газета, 1979, 31 окт.

толькі дробненькія!» («А за Гомелем люди есть?» — «Есть, да только меленькие!»).

И вот об этом крае, об этих людях Иван Мележ написал правдивейшие романы, населенные характерами по-настоящему крупными, со страстями шекспировского накала. И главная страсть, которой одержим герой мележевской «Хроники» Василь Дятел,— это страсть властвовать над землей. Над своей землей — это так, страсть вроде бы собственническая. Но властвовать трудом, отчаянным, безоглядным, как только умел крестьянин трудиться, не зная ни дня, ни ночи, не щадя ни себя, ни близких.

«Власть земли», «земное притяжение» — в разные времена по-разному виделось это и оценивалось с точки зрения прогресса и гуманности. И действительно, в различных условиях разные были проявления ее — власти земли над крестьянином. Она и уродовала, и убивала душу, но она могла и поднимать, распрямлять людей — все зависело и зависит от времени и условий.

А в наше время и в условиях наших?

Один взгляд на эту проблему у Мележа и совсем иной, например, у Макаёнка (хотя Мележ писал о 20-30-х годах, а Макаёнок — о наших днях, но и тот и другой озабочены проблемами именно нашего времени).

В «комедии-репортаже» о жизни и проблемах сегодняшнего села Андрей Макаёнок вкладывает в уста довольно-таки традиционного деда слова неожиданные.

«Дед Цыбулька. А-а, вот как ты повернул? Выходит, я — контра? А ты Стеньке Разину и Пугачеву — ближайший друг? Ну, тогда получай сдачи. Надо растолковать тебе, если ты способен хотя бы что-то понять. Первое. Когда я стал законным пенсионером, полностью обеспеченным, я оказался как бы без конкретного дела. А ето что-о? Для селянина что? Скажу я вам: эх, и тяжелая ето работа — сидеть без дела. Как в президиуме. Вот тогда я и задумался... Перепередумал всю жизнь, и свою собственную, и деда, и прадеда своего, и внуков, и правнуков своих, которые есть и которые будут. Раз ты затронул былое, то я тебе обратно — раскрою былое и думы. Ты потревожил светлые головы Стеньки Разина и Пугачева, народовольцев, героев революции и гражданской войны... Не-е, не раскумекать тебе ето. А потому возьмем конкретно и просто по букварю. Вот ты упрекаешь моего внука и меня, что мы не любим землю. А за что ее любить? Не за то ли, что ета земля меня, батьку моего, деда и прадеда вековечно, столетиями, тысячелетиями, не жалея, горбом награждала, гнула книзу, тащила в грязь, в тину, в болото? Эта земля за тысячи лет насквозь

промокла людским потом, набрякла горькими мужичьими слезами. Ступи на нее, и она чавкает. Вековечно я стоял перед нею на коленях, по комочку перетер ее всю пальцами, бил земные поклоны, рыдая, молил ее и ласково, и гневно, чтобы прокормила, чтобы пожалела детей. От зари до зари, от ночи до ночи крюком гнул спину, не поднимая глаз на небо, на жаворонка — на красоту. И так века. Дак за это ее любить? Как бы не так!.. Земля... Ее хватало и тогда, при помещиках. Работай и люби ее, землю эту, сколь душе угодно, хоть целуй ее, хоть лижи. Только плоды труда твоего доставались черту лысому: помещику-дармоеду, купцу, царю-батюшке, попу, чиновнику, жандарму, а не тому, кто руки мозолил. Я тут землю ласкал, нянчил, засевал, полол, жал, каждое зернышко пальцами перещупал... А потом? А потом сам оставался голоден, детки опухали от голодухи, от бесхлебицы. Не обидно? Не болела душа? До слез кровавых обидно было! Вот так, до удушья!.. Дармоеды, сытые, они любили землю. А я ненавидел ее! Вот эта ненависть, обида, голодные дети и надежда на вольный труд гнали меня на смертельный бой... О-о-о, ета земля!.. Вот попробуй предложи любому колхознику сейчас десять, пятнадцать гектаров земли. Думаешь, возьмет? Даже бесплатно, за так. Не-е! Дудки! Понял мужик — не в земле счастье!»[1]

И даже в микрофон кричит дед Цыбулька — вослед внукам, бегущим из села: «Так что, внуки мои, идите! Учитесь! Работайте! И обязательно любите человека на земле! Человека! Идите! Идите вперед и еще более, дальше. А я тебя, Юрка, прикрою с тыла. От старины прикрою. Вперед! И еще дальше и больше!»[2]

Дед Цыбулька, возможно, и не знаком с цифрами, со статистикой о миграции сельского населения — в планетарном масштабе. Но за «авторской позицией» такое знание просматривается явственно: сокращение сельскохозяйственного населения в развитых, индустриальных странах — процесс болезненный, но вполне закономерный. В наш технический и химический век это неизбежно и даже может служить поводом для проявления энтузиазма. При одном лишь условии: если сокращение количества работников способствует их «качественному» отбору и увеличению производства продуктов питания для ушедших в города.

Почему бы и не прокричать радостно вослед им, как макаёнковский дед Цыбулька: «Так что, внуки мои, идите! Вперед!.. И еще дальше и больше!»

---

[1] Макаёнак А. Таблетку пад язык: Камедыя-рэпартаж.— Полымя, 1973, № 1, с. 68 (Перевод автора).
[2] Макаёнак А. Таблетку пад язык: Камедыя-рэпартаж,— Полымя, 1973, № 1, с. 68 (Перевод автора).

Дед Цыбулька цифрами не оперирует, но они вроде бы за него — такое чувство у автора комедии. А чтобы чувство выразить словами, специально для этого в пьесу вставлен внук деда Цыбульку подкованный политэкономически Юрка («Видели, сколько новой техники только вчера прибыло в наш колхоз? Начинается новый способ производства. Ком-му-нис-ти-ческий!»).

Можно подумать, что задолго до начала нынешней дискуссии вокруг «деревенской» прозы ее уже «прокрутил» в своей пьесе «Таблетку под язык» А. Макаёнок. В пользу и на стороне А. Проханова и В. Гусева, конечно. Но верно сказано еще Горьким, что «образ шире идеи». Где дедову внуку Юрке и некоторым участникам дискуссии опереться не на что, кроме как на пафос и количество машин, там у драматурга в запасе «образ» — сам дед Цыбулька с его прошлыми мытарствами в горевом прежде колхозе. Тех, кто не согласен с главной мыслью пьесы: бегство молодежи из деревни — процесс в целом положительный, поскольку на замену движутся машины, техника (про шефов в пьесе ни слова!) — несогласных с этим дед Цыбулька легко припрет к стенке, не прямо, так косвенно: «Довольно нас дурачить любовью к земле, сыты ею во как! Ты пожил в городе на всем готовом, пока у нас не было паспортов,— теперь паспорта и у нас, слава богу! Мои внуки не хуже ваших!» И верно — не хуже. Попробуй, горожанин, с ним поспорь, ответь ему: ты, лично ты,— ему, Цыбульке, а не Макаёнку! Макаёнку отвечать легко: на его цифры — да своими цифрами. Тут вы на равных, горожане. Между вами лишь цифры. А между тобой и Цыбулькой — годы и годы, когда не ты, а он жил возле хлеба и без хлеба.

Виноватая память подсказывает сцену, картинку тридцатилетней давности, от которой не ушел и никуда не уйдешь. Ты студент, с бывшим своим командиром — дружелюбным и неунывающим работником районного масштаба, оба вы едете по «своим местам», где партизанили, где вас знают. И действительно знают, помнят, но почему так нехорошо, так неловко, стыдно от встреч с ребятами из вашего отряда — мирными послевоенными колхозниками? Тогда, в 1948-м, в 1949-м о человеке думалось хорошо или плохо в зависимости от того, кем и чем он был в войну. А они в войну все были полезнее, нужнее тебя — пацана с винтовочкой. И вот ты приехал повспоминать и как бы покрасоваться и уедешь, а им — хочешь не хочешь — оставайся и живи на «палочки» вместо хлеба. Будто не одна победа на всех. Вам с командиром, уехавшим в город, досталась одна, а им — какая-то другая... Да, это именно то время, о котором иной обыватель, городской или литературный, вздыхает

сердито: «Зато цены снижали!» Для тебя, для вас — за их счет. Что ж, за все надо расплачиваться, платить по прошлым счетам — и морально, и материально. И прав был Вацлав Михальский, когда в статье «Бой с тенью» (Литературная газета, 1979, 7 ноября) написал, что проблему «доверия человека к земледельческому труду... ни на каком тракторе не объедешь...» (хотя сам в той же статье преотлично «объехал» и без трактора — ушел от всех проблем вслед за А. Прохановым — в пафос, мало с жизнью связанный).

И все-таки, хотя и припирает нас Цыбулька к стенке — нашим прошлым, не все правда о деревне здесь. И даже не самая истинная правда он, этот Цыбулька. Потому что он не из живой крестьянской плоти, а все-таки из цифр, одетых в «плоть». Он — рупор авторской идеи. Парадоксальной идеи, ничего не скажешь: крестьянин — и вдруг такое о земле!..

Через «деревенскую» прозу об этой же стороне жизни нашей истории узнаешь намного больше. Там всему есть место — даже мстительному нигилизму крестьянина по отношению к крестьянскому труду, но там жизнь, а не голая идея.

Герои романов и повестей Ивана Мележа и Сергея Залыгина («Полесская хроника», «На Иртыше»), «Владимирские проселки» Владимира Солоухина, абрамовские мужики и бабы и особенно его удивительная, вечная труженица и страдалица Пелагея, «Кончина» Владимира Тендрякова, «Войди в каждый дом» Елизара Мальцева, «Жизнь Федора Кузькина» Бориса Можаева и «Привычное дело», «Кануны» Василия Белова — вот оно, прошлое, от которого уйти, не переболев им, литература права не имела. Да и никто не имеет такого права, потому что оттуда тянутся корни и корешки многих и многих сегодняшних проблем, сложностей и трудностей.

Это уже бывало, и не раз — чье-то стремление и расчет делать великие дела руками людей идеальных. Но еще В. И. Ленин предупреждал, что в практической работе не следует рассчитывать на «идеальных». Это только литература — определенного сорта литература — поставляла таких людей в неограниченных количествах. Но они не строили Магнитку и Днепрогэс (и даже Куйбышевскую ГЭС — не они!). Не их руками, трудом поднималась целина. И не они возрождают Нечерноземье. В государственном балансе рабочей силы они не значились и не значатся. Проходят по ведомству критики: это она их бросает то туда, то сюда и руками их творит чудеса. Или обещает, как А. Проханов, сотворить. (А заодно — и новую, лучшую, более правильную, чем нынешняя «деревенская», литературу.)

* * *

Какие они ни есть — герои Белова, Можаева, Распутина и прочих «деревенщиков», даже если и не очень «современны» по каким-то меркам критики,— но они, безусловно, живые, реальные люди, и с ними хочется быть. Даже если ты, осмелюсь думать, трудишься на сверхсильном тракторе или на атомной субмарине...

«Но теперь ей предстояло готовить избу не к празднику, нет. После кладбища, когда Дарья спрашивала над могилой отца-матери, что ей делать, и когда услышала, как почудилось ей, один ответ, ему она полностью и подчинилась. Не обмыв, не обрядив во все лучшее, что только есть у него, покойника в гроб не кладут — так принято. А как можно отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой сама она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье?»[1]

С камня не спросится, что он камень, с человека же спросится!

«Русский народ,— написал в конце жизни Василий Шукшин,— за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту... Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком»[2].

Об этом же и о том, что в повестях его говорится,— Валентин Распутин сказал в одном из интервью: «И если мы станем считать вопросы нравственности второстепенными, тыловыми, нам неминуемо придется поворачивать назад, ибо тыл тогда сам по себе превратится во фронт, а что значит фронт за спиной, понятно не только военным»[3].

Так о чем же «деревенская» проза? О погружении извечной деревенской Атлантиды (и многих ею утвержденных ценностей) под шквалом урбанизации и НТР?.. Тема прощания, оплакивания, последнего поклона? Да, и об этом. Не песней же и пляской (или «Петрухиной пьянкой») проводить нашу общую «Матёру», где столько зачато, родилось и умерло... Так все-таки «поклон», умирание — об этом? Нет, о жизни. Больше того — о смысле жизни. Подняться к этой проблеме по-серьезному, как поднимается, например, Валентин Распутин,— нужна не просто смелость, а зрелость. Всей литературы зрелость.

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 165.
[2] Вопросы литературы, 1979, № 10, с. 150.
[3] Там же, с. 111.

Которую мы ощущаем в нашей как «военной», так и «деревенской» прозе.

Насколько они не праздные, вопросы эти, и для современного материалиста, хорошо засвидетельствовал разговор А. Л. Чижевского с отцом космонавтики К. Э. Циолковским. Воспоминания крупного советского ученого Александра Леонидовича Чижевского о его любопытной беседе с Константином Эдуардовичем Циолковским напечатал журнал «Химия и жизнь» (1977, № 1):

«Многие думают,— сказал К. Э. Циолковский,— что я хлопочу о ракете и беспокоюсь о ее судьбе из-за самой ракеты. Это было бы глубочайшей ошибкой. Ракета для меня только способ, только метод проникновения в глубину космоса, но отнюдь не самоцель... Вся суть — в переселении с Земли и в заселении Космоса. Надо идти навстречу, так сказать, космической философии! К сожалению, наши философы об этом совсем не думают».

И дальше.

«Есть вопросы, на которые мы можем дать ответ — пусть не точный, но удовлетворительный для сегодняшнего дня. Есть вопросы, о которых мы можем говорить, которые мы можем обсуждать, спорить, не соглашаться, но есть вопросы, которые мы не можем задавать ни другому, ни даже самому себе, но непременно задаем себе в минуты наибольшего понимания мира. Эти вопросы: зачем все это? Если мы задали себе вопрос такого рода, значит мы не просто животные, а люди с мозгом, в котором есть не просто сеченовские рефлексы и павловские слюни, а нечто другое, иное, совсем не похожее ни на рефлексы, ни на слюни... Иначе говоря, нет ли в мозговой материи элементов мысли и сознания, выработанных на протяжении миллионов лет и свободных от рефлекторных аппаратов, даже самых сложных? Да-с, Александр Леонидович, как только вы зададите себе вопрос такого рода, значит вы вырвались из традиционных тисков и взмыли в бесконечные выси: зачем все это — зачем существуют материя, растения, животные, человек и его мозг — тоже материя,— требующая ответа на вопрос: зачем все это? Зачем существует мир, Вселенная, Космос? Зачем? Зачем?»

«Говорят,— иронизирует Циолковский,— что задавать такой вопрос — просто бессмысленно, вредно и ненаучно. Говорят — даже преступно. Согласен' с такой трактовкой... Ну, а если он, этот вопрос, все же задается... Что тогда делать? Отступать, зарываться в подушки, опьянять себя, ослеплять себя?.. Этот вопрос не требует ни лабораторий, ни трибун, ни афинских академий. Его не разрешил никто: ни наука, ни религия, ни философия. Он стоит перед

человечеством — огромный, бескрайний, как весь этот мир, и вопиет: зачем? зачем?»[1]

У Циолковского была своя научно-философская гипотеза будущего развития человека и человечества — неожиданная по смелости и масштабам, оперирующая миллиардами миллиардов лет, когда, по его предположению, даже человеческое тело эволюционирует в «лучевую энергию» и, разлившись, «рассветившись» по Космосу, став Космосом, «может быть», осознает, поймет, «зачем все». Потому что человек и будет этим «всем»...

Это в традиции русской гуманистической науки и великой русской литературы (да и всей мировой, классической) вопрос «о смысле всего» связывать напрямую с вопросом о «вечности». А значит — и смерти. Именно смерть заостряет вопрос до боли, до крика: зачем? зачем все? какой во всем смысл?[2]

Были времена в литературе, когда о смерти, умирании писали много, очень много, писали с удовольствием, со смаком, с подвыванием — Максим Горький этих писателей называл «смертяшкиными». Нет ничего отвратительнее, чем «конъюнктурщики» этой «темы».

Но бывало и другое. Смерть ушла из литературы начисто, «намертво». Нет, люди погибали, если надо — геройски или подло погибали, кровь лилась, текла обильно по страницам. Смерть как «поступок» жила в литературе. Но смерть как тема, проблема, вопрос — ушла, исчезла. А с нею — закономерность! — и вопрос о смысле жизни. Ведь все ясно и просто, если умирают лишь за дело (или поделом), а не так, как старуха Анна у Валентина Распутина,— просто потому, что срок подошел и надо.

В «Юности» был когда-то опубликован рассказ «Невероятная смерть» интересного нашего белорусского писателя Валентина Тараса. Партизанский командир и молодой паренек едут на санях сквозь ночь — лесом, полевыми дорогами. Везут убитого партизана. Увидели огонек на хуторе. Командир послал партизана посмотреть, кто и что там, и «прикрыть эту иллюминацию». Мальчишка заглянул в окошко, потом вошел в сени: в избе старухи, дети, тусклый свет лучины падает на мертвого старика, лежащего в гробу. Надо узнать, кто его? Спросил:

«— А кто его убил?

— Никто. Сам...— так же просто сказала женщина.

---

[1] Химия и жизнь, 1977, № 1, с. 24—26.

[2] Не эту ли глубинную связь имел в виду Ф. Достоевский, когда в записной книжке заметил: «Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие». (Литературное наследство: Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради. 1860—1881, т. 83, 618).

— Как это — сам? — не понял мальчишка».

Пораженный, вернулся на дорогу и сообщил командиру, что «сам».

«— Умирают же люди I — тихо сказал командир».

«Военная» наша литература не могла и не может не писать о смерти человека — смерти во имя жизни, прежде всего. Сохраняя и передавая всю боль и трагедию насильственного конца. Но военная ситуация фактически снимает главный вопрос, а точнее, решает его лишь «тактически». И редко, очень редко — «стратегически», как решали его классики. Смерть Андрея Болконского — не только во имя победы над Наполеоном. Нет, она «нужна» Толстому и для победы над бессмыслицей бытия, ради выяснения: в чем же смысл жизни и смерти человека? У нас же смерть героя чаще «поступок», а не «вопрос». И когда у Виктора Астафьева в повести «Пастух и пастушка» герой умирает не от ран, а от «усталости» — рана вроде бы пустяковая, а он все равно умирает, как бы от всей войны умирает, от жестокости всей, им познанной,— начинаешь подозревать, что писатель уловил и выразил «усталость» самой пашей «военной» литературы. Усталость от смертей, одинаково лишенных глубины вечных вопросов. Да, тех самых, вечных, проклятых!

И тут не «деревенщики» ли могут, способны подсказать и подсказывают кое-что «военной» прозе? Не случайно именно Астафьев вот так ощутил это и художественно выразил — писатель, одинаково сильно заявивший себя как в «военной», так и в «деревенской» прозе.

Умирает старуха Анна в «Последнем сроке» Валентина Распутина, умирает остров на сибирской реке — зеленая, обжитая Матёра. Река времени и просто река возьмут свое. «Надо, раз надо»,— как бы говорит всем своим обликом старуха в «Последнем сроке». А в «Прощании с Матёрой» звучит: «Надо ли?!» Но и там и здесь главная мысль об остающихся — о тех, кому жить дальше. О «провожающих». И старуха Анна и древняя Матёра одинаково тревожно, жалеюще смотрят на уходящих от них. И от кого они уйдут — в смерть, под воду. Да, и Матёра смотрит: не ради ли этого выпущен автором чудной, проницательный зверек — Хозяин, который, все видит, все чует?

«И он видел все от начала до конца. Он видел отблеск первой спички, особую, ненуждовую вспышку которой сразу выделила и почувствовала изба: она натянулась и, с болью скрипнув, осела. Хозяин подбежал к ней, прижался на мгновение в последний раз к ее сухому замершему дереву...

Он видел дым над кладбищем, тот самый, который, старухи не дали добыть...

Он видел, подобрав опять глаза к Петрухиной избе, как завтра придет сюда Катерина и будет ходить тут до< ночи, что-то отыскивая, что-то вороша в горячей золе и в памяти, как придет она послезавтра, и после... и после...

Но он видел и дальше...»[1]

Последний срок... Старуха уходит, умирает, взрослые ее дети приехали, на время оторвавшись от дел и своей жизни — проводить, исполнить обряд и выполнить долг Человеческий, сыновний, дочерний.

И до чего же, господи, не умеют это люди вести себя перед лицом смерти! Чужой. И свою далеко не каждый человек встречает, встретит, как следовало бы — как сам от себя или другие от него ждали. Но редко кто перед лицом собственного конца бывает столь же пуст и обидно неглубок, какими бывают многие — в роли «провожающих».

Умирает мать, их мать! А они что? Они приехали ее жалеть, оплакать ее. Как умеют, как могут. Но что бы они ни сделали, чтобы ни сказали — все выглядит и все звучит ужасно. Перед таинством смерти.

Да кто же они — люди, нелюди? Люди, обыкновенные люди, но это о них (и о себе) говорит Поливанов — один из героев нового романа Даниила Гранина «Картина»: «Не думал я о смерти. Словно бы бессмертен. Ты разве к смерти готовишься? Тоже живешь ровно бессмертен. Это у всех нынче как болезнь... Поскольку там ничего нет, то боимся подумать...»

«Провожающие» и сами боятся думать о смерти и приговоренного к ней болезнью или старостью «отвлекают». Как в «Последнем сроке»: «Ну, мать, молодец ты у нас,— с веселым удивлением покачает головой Илья.— Давно ли слова не могла сказать, и вот, пожалуйста, вовсю разговорилась. Прямо как по-писаному чешешь».

«— Мать у нас молодец. Обманула свою смерть, и никаких.

— Смерть не омманешь.— Старуха смотрела на них с терпеливой укоризной и сказала не сразу».

«— Лежишь, мать? Ну, полежи, полежи, отдохни. А плясать вздумаешь, обязательно крикни нас. Посмотрим — ага. Мы знаем, мать, знаем, что ты собираешься плясать,— не отказывайся.

Старуха отвечала ему испуганным, умоляющим взглядом».

Все они как бы ради умирающего стараются — чтобы подбодрить. Но больше потому, что других слов не имеют. Не привыкли об

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 74—75.

этом думать. Делают вид, что всем еще долго «ехать» вместе («Ты еще у нас плясать пойдешь!»), но сами лишь «зубы заговаривают, отвлекают,— как зло сказано у того же Гранина,— чтобы на ходу спрыгнуть».

«Почему так?» — звучит горький, трудный вопрос в «Картине» Гранина. И у Распутина в «Последнем сроке» тот же вопрос. В каждой сцене, на каждой странице повести. Как все ужасно, ложно у тех, что явились «проводить» мать, и как все по-человечески правдиво и верно у самой старухи, даже когда она «чудит»...

«Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом, стонала, из глаз ее выдавливались слезы, и она причитала:

— Сколько раз я вам говорела: не трогайте меня, дайте мне самой на спокой удти. Я бы тепери где-е была, если бы не ваша фельшерица.— И учила Нинку: — Ты не бегай боле за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди, а потом скажи: нету ее дома. Я тебе за это конфету дам — сладкую такую»[1].

А вот — дети:

«Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара... Варвара открыла ворота, никого не увидала во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:

— Матушка ты моя-а-а!

Михаил выскочил на крыльцо:

— Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберешь сейчас всю деревню»[2].

Варвара самая «недалекая» из детей старухи — по уму, да и живет ближе других детей. Люся — та городская, «кричать» не станет на всю деревню и чует ложность положения, фальшь, когда она возникает, но и эта что ни сделает — все невпопад, все ужасно...

«Застрекотала машинка, и Люся сама испугалась, выпустила ручку — до того громким, как стрельба, показался ее стук. На него тут же пришлепала напуганная Варвара. Увидев Люсю, чуть остыла:

— Слава тебе, господи! Думаю, кто тут такой. Прямо всю затрясло. Че это тебе приспичило?

Люся не ответила, шила.

— На похороны, че ли, черное-то приготовляешь?

— Не понимаю: неужели об этом обязательно надо спрашивать?

— А че я такого сказала?»[3]

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 397-398.
[2] Там же, с. 398.
[3] Там же, с. 404.

Сыновья Михаил и Илья позаботились о водке — тоже понадобится.

«Братья понимали, что сейчас все главное для них состоит в том, чтобы ждать, но и ждать тоже можно по-разному, и они исподволь уже начали тревожиться, так ли ждут, как надо, не теряют ли даром время. Напоминание об умирающей матери не отпускало, но сильно и не мучило их: то, что надо было сделать, они сделали — один дал известие, другой приехал, и вот водку вместе принесли — все остальное зависело от самой матери или от кого-то там еще, но не от них...

— Скажи все же, а,— начал опять разговор Михаил— Ведь знали, что вечно жить не будет, что близко уж. Вроде привыкнуть должны, а не по себе.

— А как иначе,— подтвердил Илья,— Мать.

— Мать... это правильно. Отца у нас нет, а теперь мать переедет, и все, и одни. Не маленькие, а одни. Скажем, от нашей матери давно уж никакого толку, а считалось, первая ее очередь, потом наша. Вроде загораживала нас, можно было не бояться. А теперь живи и думай.

— А зачем об этом думать? Думай не думай...»[1]

А потом была первая тревога, и их всех позвали к умирающей:

«Они ждали, особенно близко чувствуя, что они сыновья и дочери этой старухи, и жалея ее, а еще больше жалея себя, потому что после ее кончины им останется горе, навязанное смертью, которое кончится не скоро. И еще каждый из них по-своему чувствовал новое, не бывавшее прежде в нем горькое удовлетворение собой оттого, что он здесь, при матери, в ее последний час, как и положено сыну или дочери, и тем самым заслужил ее прощение — какое-то другое, не человеческое прощение, мало имеющее отношение к матери, но все же необходимое в жизни. Это были страх и боль вместе, больше всего их пугало, что они, глядя на долго отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя, и, сами не веря себе, они хотели, чтобы это кончилось скорей»[2].

Сами не веря себе!.. Литература давно — начиная с Достоевского, Толстого, видит в человеке то, замечает, подмечает то, на что, казалось бы, и смотреть нельзя: пугающие эти, мимолетные, но тем не менее задерживаемые сознанием, фиксируемые им самим жутковатые мысли, ощущения. Вот и в «Прощании с Матёрой» Дарья говорит:

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 416—417.
[2] Там же, с. 418.

«— Живые... им жить надо, а не смерть в дому держать, горшки с-под ее таскать, Я потаскала, знаю. Из-под меня скоро с-под самой хошь таскай, мигом от горшка до горшка долетела, а помню. Свекровку свою помню, как я на ее смотрела. А то и смотрела,— непонятно на что опять осердясь, продолжала она,— что думала: «Когды тебя бог приберет? Надоела хужей горькой редьки». Это мы с ей ишо хорошо жили, она покладистая была. А я была небрезгливая. А помню: до того мне под конец тошно к ней подходить. Навроде все понимала, что она, христовенькая, невиноватая, а все равно ниче с собой сделать не могла. Не могу, и все, хошь из дому беги. И думаю: а ежели бы это мамка моя пластом так лежала — я бы тоже ей смерти хотела? Сама отговариваюсь, а сама слышу, издали голос идет: а тоже хотела бы... Это уж и не от меня идет — от чего-то другого»[1].

Такой беспощадной правды, идущей от любви к человеку — не от презрения, а именно от любви, жалости,— литература не знала до Толстого и Достоевского. Но и после них решиться на такую правду и беспощадность можно, право имеет владеющий высоким искусством любви к людям.

Очень даже знакомы Распутину-художнику такие чувства, как презрение, гнев, хватает в его повестях «разоблачительных», почти фельетонных красок: достаточно вспомнить пьянку сыновей, которой они «скрашивают» свое ожидание смерти матери, или же «труды и дни» шефов, налетевших на затопляемую Матёру... Но «разоблачением пороков» он не ограничивается, на этом его реализм, его психологизм не кончается. Гнев его видит и бездушие, и эгоизм, и повсеместную пьянку, от которой люди на улицах «на ходу бодаются». Но жалость его, перенятая у старухи Анны и бабки Дарьи, видит намного дальше, глубже: как нелегко, непросто человеку справляться со всем, что в нем намешано, как мучительно!

Именно такими глазами смотрит на своих детей и старуха Анна.

«Старуха смотрела на Илью долго, до неловкой устали. Она искала в нем своего Илью, которого родила, выходила и держала в памяти, и то находила его в теперешнем, то опять теряла. Он был, но далеко. Столько нового мяса наросло на нем, столько всяких людей без нее ходило с ним рядом, что она верила и не верила, что это он, будто ее Илью, как малую рыбешку, заглотила рыбина побольше да порасторопней, и теперь они живут в одном теле»[2].

А в «Прощании с Матёрой» об этом же напрямую:

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 86—87.
[2] Распутин В. Последний срок, с. 422—423.

«Смотрите, думайте! Человек не един, немало в нем разных, в одну шкуру, как в одну лодку, собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания — он это и есть, его и запомните»[1].

Старуха Анна умирала, как жила всю жизнь,— не жалуясь, ничего не перекладывая на других, не требуя ничего. А только все еще ожидая своей младшей дочери, Таньчоры, которая почему-то не едет, хотя сейчас, в последние минуты, она нужна больше всех. Единственная, которая вслух говорила ей когда-то слова чудные и непринятые в деревне: «Ты у нас правда молодец, ты и не знаешь, какая ты молодец, ты лучше всех... Нам с тобой сильно повезло. У кого еще есть такая мать, как у нас?»

Крестьянку даже пугали такие слова («она не знала, что их можно говорить вслух»), но «...это был приятный, усмиренный страх, как страх невесты перед первой брачной ночью. Мать потом долго испытывала их про себя, как бы случайно, ненароком припоминая выпавшие слова, на самом деле старательно собранные в памяти, чтобы погреть, когда захочется, душу»[2].

Не много же ласки и добра она видела, но тем бережнее хранила то, что ей досталось.

«Но она не жаловалась на свою жизнь, нет. Как можно жаловаться на то, что было твоим собственным, больше ничьим, и что выпало только тебе, больше никому? Как прошла, так и ладно, во второй раз не начнется. Потому-то и хватает человеку одной жизни, что она у него одна,— двух бы не хватило... Никогда ей не приходило в голову, что хорошо бы стать на чье-то место, чтобы, как он, больше увидать или легче, как он, сделать... И никогда никому она не завидовала, как бы удачно он ни жил и с каким бы красивым лицом ни ходил—для нее это было нисколько не лучше, чем хотеть себе в матери чужую мать или в дети чужого ребенка»[3].

И жизнь у человека — своя собственная. И смерть тоже — собственная, лишь ему принадлежащая. Ведь говорят в народе: умер — как жил. Каждый по-своему умирает, как и живет.

«Старуха верила, что у каждого человека своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, точь-в-точь похожая на него. Они как двойняшки, сколько ему лет, столько и ей, они пришли в мир в один день и в один день сойдут обратно: смерть, дождавшись

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 105—106.
[2] Распутин В. Последний срок, с. 512—513.
[3] Там же, с. 530—531.

человека, примет его в себя, и они уже никому не отдадут друг друга... Но про себя старуха знала, что смерть у нее будет легкая. У них было время, чтобы насмотреться, как живут и умирают другие, и им под конец незачем мучить друг друга — да и сил для этого у них не осталось»[1].

Тени, тьма исчезают, если их пытаться рассмотреть «с помощью света». То же саМę случается очень часто и в литературе — когда о смерти пишут слишком «от ума». Стремясь «понять смерть», а через нее — и смысл жизни, литература чаще именно так и поступает: тьму смерти высвечивает рассудком и уже о «свете» рассуждает, будто бы о «тьме».

Иво Андрич в своей мудрой книге «Знаки вдоль дороги» пишет: «То, что у писателя мы называем «размышлениями о смерти», чаще всего далеко от размышлений и еще дальше от смерти. Это лишь выраженные словами наши чувства неуверенности и страха при мысли о смерти. Подлинная мысль о смерти слов не находит»[2].

И удивительно, как Распутин эти слова все-таки находит,— будто уже сам пережил. И даже старухой когда-то был, «побывал».

«Подлинные» это мысли умирающего или нет, мы знать не можем. Но что мы всему в повести верим, это мы знаем.

«Вот и побыла она человеком, познала его царство. Аминь. Она чувствовала, как меркнет в ней сознание, немеют руки. Или ей это только казалось, этого хотелось? Налившись обещанным звоном, повисли над землей колокола.

Прошли минуты и еще минуты — ничего не менялось. Старуха по-прежнему помнила себя: кто такая, где, зачем. Смерть почему-то не торопилась принять ее, чего-то выжидала.

Старуха прислушалась к себе внимательней. Похоже было, что все в ней на прежних местах продолжало исполнять свою службу. Не понимая, за чем остановка, она тихо, сдавленно простонала: тут я, тут...

Ей стало не по себе, ее охватило недоброе предчувствие. А ну как она умаяла свою смерть до того, что та теперь не в силах сюда добраться? Столько годов водила ее за собой, даже не водила, а можно сказать, гоняла — мудрено ли запалить до полного изнеможения. Вдруг правда: смерть не в состоянии достать до старухи, а старуха не в состоянии подтянуться к ней ближе»[3].

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 526.
[2] Вопросы литературы, 1977, № 7, с. 212.
[3] Распутин В. Последний срок, с. 538—539.

Со своей смертью старуха Валентина Распутина не ссорится: прожила свое, пора и честь знать. Но чужие смерти принимать легко никогда не умела, не хотела. Троих сыновей забрала у нее война. «Уезжали живые, здоровые ребята, один к одному, уже и не ребята, а мужики, а остались от них три бумажки».

О своей жизни-смерти старуха вопросов не задает — другим. Себе — да, но не другим. Но за других она может и похлопотать. За детей — особенно.

«Старуха не понимала только, почему умирают маленькие. Она считала грехом, когда родителям приходится опускать в могилу своих детей, и грех этот готова была отдать богу. У маленького и смерть такая же маленькая, несмышленая, она заиграется с ним, забудется да по нечаянности и коснется его — и сама не поймет, что натворила. А он-то, бог-то, где был, куда смотрел?.. Зачем тогда его обманывали — рожали? Зачем показывали ему белый свет и дали человеческое понятие?»[1]

Старуха умирала даже красиво. Если какую-то смерть можно посчитать красивой. Есть народы, например японцы, для которых умереть «красиво» — значит оправдать всю свою жизнь. Какую бы ни прожил. И испохабить — тоже любую, если умрешь «без достоинства». Это их поговорка: «Умрешь — не надо будет завтра». У русского народа, у славян свое отношение к смерти, но забота о достойном уходе из жизни тоже великая. Заранее готовили и «наряд» и «обряд», чтобы уйти как можно незаметнее, не причиняя лишних неудобств живым. Своего рода чистоплотность, свойственная людям очень интеллигентным. И вот им свойственная — крестьянам, «простым мужикам».

Мы знаем, как ценил это, как завидовал этому Толстой. («А мужики-то, мужики как умирают!») Старуха умирала — хоть это и неожиданно будет, но хочется сравнить,— как академик Павлов! Который до последнего мгновения диктовал, сообщал ассистенту «ощущения умирающего». Работал. («Не мешайте, Павлов работает,— Павлов умирает!»)

---

[1] И снова о «географии» в литературе, о том, как то же самое звучит по-другому, когда все происходит в Белоруссии (и в белорусской литературе). У Виктора Козько:
«— Бога! Бога!
И появился бог. Сел на крест возле меня. Посмотрел на простертые к нему руки и заплакал.
— Я тоже страдал, люди,— сказал он.
— Твоего сына только раз распинали,— ответили ему.
— Его тело не крошили танки.
— На его глазах не мордовали его детей.
— Его не закапывали живьем в землю.
— Ангелы оживили его и унесли на небо» («Високосный год»).

Старухе, конечно, такое и на ум не могло придти: что ее умирание может быть кому-то полезно. Одна забота от нее, одно беспокойство для людей! Вот и дети должны были срываться с места, бросать все и ехать к ней. И теперь сидят, дожидаются, и даже получается, что они виноваты в чем-то: ведь смерти ее дожидаются! Так надо скорее дело делать — скорее умирать! А то нехорошо получается. Будто нарочно тянет-затягивает...

Павлов не Павлов, а выходит, что и старуха делом занята: не просто умирает, а как бы и работает. Смерть поторапливает, помогает ей в ее работе...

«В ту же ночь, не откладывая, старуха решила умереть. Делать больше на этом свете ей было нечего и отодвигать смерть стало ни к чему. Пока ребята здесь, пускай похоронят, проводят, как заведено у людей, чтобы в другой раз не возвращаться им к этой заботе... Старуха лежала в кровати и ждала, когда затихнет изба, потому что знала: смерть у нее боязливая и на шум не пойдет...

Старуха собиралась спокойно, без суеты и страха. Тихонько освободила от одеяла грудь, чтобы было с чего начать, осторожно, не вызывая шума, покачала себя в кровати и нашла, что ничего лишнего в ней нет, все вышло... Ноги она вытянула и устроила удобней — вот и ноги скоро подравняются со всем телом и не будут больше страдать, что они отказали первые. Сколько раз она им говорила, что они не виноваты, она сама их надсадила беготней, да они не понимали. Теперь поймут, никуда не денутся»[1].

Вроде бы все дела переделала, осталось последнее — помочь своей подружке и напарнице—смерти. Но нет, что-то держит, мешает успокоиться и уйти. Небольшой вопросец остается — к земле, к небу, к людям и к самой себе: зачем приходила, куда денется ее жизнь, и вообще — зачем все?

И повестью «Последний срок» и «Прощанием с Матёрой» Валентин Распутин напрямую выходит к главному из вопросов, к вопросу вопросов: зачем все, какой во всем смысл? Не налегке выходит, не умничания ради. Сами герои туда выходят — всей жизнью своей, правдой и полнотой реальной жизни, которая им дана в повестях Распутина. Талантом художника дана, а точнее — любовью и талантом.

Жила старуха — а когда-то и девочка, и молодая женщина, и труженица, и мать,— не особенно задумываясь над «вечными вопросами». Но уходя от всех и от всего, хотела бы и она знать, понять, выяснить, «зачем и для чего жила, топтала землю и скручивалась в

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 525, 537.

веревку, вынося на себе любой груз? Зачем?» (Так что и тут она немножко «Павлов». Да и не немножко.)

* * *

Да, зачем все? И я зачем, и моя жизнь, и вот теперь — смерть? (А за этим — и все вопросы Циолковского: «зачем существуют материя, растения, животные, человек и его мозг... Космос, Вселенная?») И зачем ему, умирающему, знать это? — вот еще вопрос, встречный. Психологически понятно, почему именно приближение конца, смерти заостряет вопрос о смысле жизни. Для человека нет ничего невыносимее бессмыслицы — как в жизни, так и в смерти. Но можно и так вообразить: чем ближе к концу человек, тем ближе он и к «будущим ответам», которые угадывать пытался и Циолковский: «Итак, значит, мы пришли к выводу, что материя через посредство человека не только восходит на высший уровень своего развития, но и начинает мало-помалу познавать самоё себя!.. И одна из самых поразительных его возможностей — это вопрос, о котором мы сегодня заговорили: почему, зачем и т. д... Кто пренебрегает этим вопросом, тот, значит, не понимает его значения, ибо материя, в образе человека, дошла до постановки такого вопроса и властно требует ответа на него. И ответ на этот вопрос будет дан — не нами, конечно, а нашими потомками, если род людской сохранится на земном шаре до того времени, когда ученые и философы построят картину мира, близкую к действительности.

Все будет в руках тех грядущих людей — все науки, религии, верования, техника, словом, все возможности, и ничем будущее знание не станет пренебрегать, как пренебрегаем мы — еще злостные невежды — данными религии, творениями философов, писателей и ученых древности»[1].

Итак, старуха В. Распутина не первая и не последняя, которая мучится мыслью: зачем жила, «только для себя или для какой-то пользы еще», «кому, для какой забавы, для какого интереса она понадобилась»? Не первая и не последняя задумывается она. В жизни. Но в литературе было время, когда уже и отвыкать мы начали от «вечных», от «проклятых» вопросов. И это в нашей литературе, которая всегда напрямую себя возводила к Горькому! Мало есть писателей в мировой литературе, герои которых (почти все, даже удивительно, как именно все!) вместе с самим писателем так одержимы стремлением решать самые проклятые вопросы. Как и герои Достоевского, они

---

[1] Химия и жизнь, 1977, № 1, с. 29.

стремятся сразу «весь капитал получить»: «миллионы» — как удастся, а «мысль разрешить»— этим заняты все. Лев Толстой, мы знаем по воспоминаниям самого Горького, даже упрекнул его: выдумываете, батенька, вы разговоры эти — за своих героев! Хотя кто не «выдумывал»? Платон Каратаев «берет» у графа Толстого мысли и слова столь же свободно, как брал, черпал писатель-граф у русского мужика его земную мудрость. То же самое и Горький: он, конечно, одаривает героев и собственным стремлением заново все «вопросы» если не разрешить, то поставить, заострить. Но прежде они в нем разбудили это стремление — вполне реальные русские люди, с которыми жизнь его сводила...

Когда я слышу упреки С. Залыгину, что его сибирские мужики в «Комиссии» — «все философы», каких и «аспирантура не рождает», хочется сказать: никакая аспирантура не сравнится со школой, которую проходил русский мужик, проламывающийся сквозь тайгу к Тихому океану. А если иметь в виду традицию советской литературы, то самый яркий пример — «Жизнь Клима Самгина». Удивительный это роман, дотоле не имевший аналогов в практике мировой литературы. Надо было пройти путь Алексея Пешкова по самому дну жизни с внезапным, стремительным восхождением — через книгу и через приобщение к спорам интеллигентных и совсем неинтеллигентных «философов»,— пройти через такое резкое восхождение к интеллектуальной жизни, культуре, чтобы осмелиться строить роман весь на «умствованиях». Конечно, и события есть в романе, и выверенно, ритмически точно разбросанные среди бесконечных разговоров сцены самгинских «любовий» (порочных своей «умственностью» и как бы в свою очередь подчеркивающих порочность самих умствований, разглагольствований Клима Самгина).

Вот сейчас задаю себе вопрос: почему так нужен был, читался «Клим Самгин» в юношеском возрасте?.. Что его перечитывал, и не раз, потом — понять можно. Но почему тогда — ведь тогда была война! «Войну и мир» в третий раз глотал, вчитывался в нее, как в листовки партизанские — это более чем понятно! Но и «Жизнь Клима Самгина» читалась — я точно свои ощущения помню — не затем, чтобы уйти от войны, забыть про нее, а в ответ на все, что происходило, что окружало нас. Зачем был нужен «хлюпик» и «болтун» Клим Самгин, когда наступило время действий, «время оружия»? Не Клим Самгин нужен был, а «Жизнь Клима Самгина» — удивительная книга, излучающая ум, бросавшая протуберанцы интеллекта в мир, нас окружавший,— внезапно одуревший, отупевший мир, заполненный ненавистными зелеными немецкими мундирами и черными —

полицейскими. Книгу эту в темной, твердой обложке и на белорусском языке я, кстати говоря, выкрал у полицая. (Эту и еще пяток других.) Ему поручили сжечь школьную библиотеку, и он это старательно делал, а заодно пытался испечь картошку.

Когда мы говорим о традиции подобной литературы, говорим мы не о подражаниях. Их хватало во все времена, но тут они особенно бессмысленны. Ум, интеллект, как деньги,— это сказал еще Шолом-Алейхем,—они или есть или их нет! Вот почему так трудно «учиться», например, у Андрея Платонова. Можно еще сымитировать (кое-как) его «сдвинутую» фразу, но у Платонова она «сдвинута» мощной гравитацией — неотступной мыслью-заботой о смысле, о целях сущего. А без этого смыслового напряжения получается игра в «слова набекрень», не более.

Не одна лишь «деревенская» проза сегодня живет и болеет большой мыслью о человеческом предназначении на земле. Новый роман Даниила Гранина «Картина» движется, казалось бы, в совершенно ином эмоциональном и событийном русле. «Картина» — проза «городская», но это проза, которая горячо вспомнила, что Достоевский как раз «городской писатель». Да, «общечеловеческий»; никто не спорит — наши абсолютно условные деления на «городских», «деревенских», «военных» к нему тем более неприложимы! — и все же, и все же... Если все-таки заявлять прямые права на «наследство», то у «городской» литературы их определенно больше. Но было время — и совсем недавно это было,— когда «деревенская» всецело завладела Достоевским. Ну, и еще «военная». А «городской» литературе он вроде бы и не нужен был. Почему «деревенской» так необходим Достоевский, понять нетрудно: сошлись, встретились у самых корней, у истоков! А вот почему «городу» был не нужен — уразуметь это невозможно. Впрочем, Достоевскому от этого убытка никакого. Убытки вынуждена была подсчитывать современная литература.

Даниил Гранин — один из тех «городских» прозаиков, который от великого наследства не собирался отказываться. О чем свидетельствуют «Однофамилец», «Обратный билет». А «Картава» — особенно. Все эти вещи филигранностью письма, сдержанностью в проявлении чувств вроде бы ближе к прозе чеховской. Но заострение нравственных проблем, предельная концентрация их в судьбе отдельного человека: не «миллион» добыть, а мысль разрешить! — это как раз восходит к Достоевскому, жестокому и страдающему поэту «самого фантастического» на земле города.

Роман Даниила Гранина «Картина» совершенно в том же ряду большой современной литературы, что и «Последний срок», «Прощание

с Матёрой» Валентина Распутина, «Комиссия» Сергея Залыгина, «Дом» Федора Абрамова — вот еще одно подтверждение условности нашего деления на «деревенскую», «городскую» и т. д.

И тем не менее мы будем использовать возможность такой условной систематизации — поскольку она существует в сознании и критики, и читателей. Да и в сознании самих писателей— сколько бы они не возражали против объединения их под словом «деревенщики», подозревая (и часто справедливо, как Б. Можаев), что делается это, чтобы, «связав, легче было бить» по «куче малой»...

* * *

Нет, не бездушно и бессмысленно старуха Анна работала, рожала, растила детей, хоронила умерших — в земле и в сердце своем. Она — личность. И судя по всему, очень заметная была в своей деревне женщина. Это теперь она вроде кокона, высохшего, мертвого, из которого живое уже вылетело. Это рядом с детьми, неумело дожидающимися «срока», она уже ничто, «кокон». И своей заботой, и неумелой, какая есть, любовью, а больше всего вынужденным, нелепым, пугающим их самих «ожиданием» дети теснят, теснят ее к краю... Страшно, но это так.

А прибежала к ней соседка Мирониха — ее одногодок, «подружка», и вдруг ожила старуха, помолодела, засветилась живыми чувствами.

«— Вылезла?

— Вылезла,

— Дак ты, старуня, моить, за хребет седни со мной побежишь? Вдвоем нам с тобой все веселей будет в гору подыматься.

— Не, я койни-как сюды-то выползла. Где на карачках, где как.

— А я бегу, думаю, узнаю у Нади, с чем моя старуня там седни лежит...

— Не умерла,— сказала старуха.

— А просилася?

— Просилася.

— Выходит, не время.

— Какое ишо надо время? — В голосе старухи впервые сегодня послышалось выражение — оно было обиженным,— Ребяты тут, оне меня долго ждать не будут. Самое было время. Ан нет»[1].

Нет, не как трава прожила жизнь старуха! Детям ее действительно повезло с нею. О Дарье («Прощание с Матёрой») сказано:

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 543.

«В каждом нашем поселенье всегда были и есть еще одна, а то и две старухи с характером, под защиту которого стягиваются слабые и страдальные; и обязательно: отживет, отойдет в смерть одна такая старуха, место ее тут же займет другая, подоспевшая к тому времени к старости и утвердившаяся среди других своим строгим и справедливым характером»[1].

Справедливый характер был и у старухи Анны, хотя и не такой строгий, твердый, как у Дарьи. Но могла и она...

Пьяный дружок пьяных сыновей старухи вспоминает: «— Помнишь, Илья, как ваша мать вот за него отомстила? Как не помнишь, конечно, помнишь. Денис Агаповский, пусть ему на том свете отрыгнется, прихватил вашего Миньку в колхозном горохе и пустил ему в спину заряд соли. Помнишь, Денис, этот зверюга тогда горох караулил — герой! Минька ему и попался. Всю спину разъело, смотреть было страшно. Мать ваша просто так это не спустила, тем же макаром запыжила два патрона солью, пошла к Денису и в упор из обоих стволов посолила ему задницу, да так, что он потом до-о-олго ни сидеть, ни лежать не мог, на карачках ползал. Помнишь?

— Помню — ага,— улыбнулся.— Ее еще судить хотели, да как-то замялось потом»[2].

А Люся, дочка, помнит, как боронила поле. Конь Люсе достался старый, слабосильный, они все в ту весну еле таскали ноги, но этот и вовсе был похож на свою тень. А когда он запнулся и упал, напугав до смерти «тоненькую, во что попало одетую девчонку», прибежала мать. Ее уговаривание умирающего коня, ее разговор с конем — как с собственной судьбой разговор — верх правды и чувства (впрочем, в повести В. Распутина все на том же уровне):

«Мать присела перед ним на колени, стала гладить по тонкой, как стесанной, шее:

— Игреня,— приговаривала она,— Ты это че удумал, Игреня? От дурной, от дурной. Он уж трава полезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то неделю, не больше, и жить будешь, любая кочка на жвачку подаст. Ты погоди, Игреня, не пондавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел потерпеть. Осталось-то уж... господи... раз плюнуть осталось-то. Че там зиму — войну мы с тобой пережили. Всю войну ты, бедовый, на лесозаготовках маялся, бревны таскал, а такая ли это работа? И таскал, дюжил. А тут уж на характере можно продержаться, я давно уж на характере держусь»[3].

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 69.
[2] Распутин В. Последний срок, с. 503.
[3] Распутин В. Последний срок, с. 471—472.

«— Ну и от, ну и от. Я ить тебе говорела. А то пропадать собрался — ну не грех ли? Скажи кому, дак и обсмеют тебя, подумают, дизентир. А какой ты дизентир, Игреня? Господи, какой ты дизентир? Хлопни на тебе комара, ты и повалишься. От и весь с тебя дизентир. Тебя ли сичас на работу назначать? Пойдем, дизентир, пойдем»[1].

Что «на характере только и держалась» — да и не она одна — это великая правда. А стержень ее характера — совесть. Совесть земледельца, которая в том же 1947-м или 1949-м поднимала с нар, выволакивала из послевоенных землянок наших больных, голодных старух, стариков, и они ползли жать, косить — не ради даже «палочек» в табеле трудодней, а потому что «жито осыпается!», «хлеб пропадает, грех!»

И они еще, такие вот женщины, «дядьки», могли себя в чем-то винить, в чем-то упрекать! Вот и распутинская старуха исповедуется перед подружкой своей Миронихой:

«Я одна с имя (с детьми,— А. А.). Одного отпустишь, другой ревет. И корова, как на вред, у нас в тот год не огулялась, молока и того нету... А Зорька наша уж в колхозе жила, помнишь, подимте, нашу Зорьку — такая хорошая была корова, комолая, по сю пору ее жалко. В колхоз как собирали, сам-то и ондал ее в колхоз, на общий двор. От уж я поревела! Ну. А Зорька так и эдак наш двор помнит, все к нам лезла, я до этой до голодовки-то помои ей когда вынесу, а то ломоть хлеба солью посыплю. Там рази такой уход — че тут говореть... Мине жалко ее станет, я загородку открою да и впущу Зорьку. Курево ей от мошки разведу, вымя подмою, она не любила, когда грязное вымя. И от как-то раз я ей вымя теплой водой помыла и думаю, дай-ка я посмотрю, есть-нет в ем молоко. Чиркнула — есть. И стала я, девка, Зорьку подаивать. Их там не выдаивали до конца. Баночку она мне после вечерешнего удоя ишо спустит, я и баночке радая, разолью ее ребятишкам по капельке, и то слава богу. Лучше слава богу, чем дай бог»[2].

И застала ее за этим занятием дочка — Люся. Которой тоже «капельки» доставались. «Стоит и во все глаза на меня смотрит. До самой души те глаза мне достали... Я сижу и боюсь подняться — как окаменела. Думаю, господи, ты-то куды смотрел, пошто ты-то не разразил меня на месте ишо в первый раз? И такой стыд меня взял, такой стыд взял — руки опускаются. Я ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла глядеть. Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит?»[3]

---

[1] Там же, с. 473.
[2] Распутин В. Последний срок, с. 491.
[3] Там же.

Вот он, ее «смертный грех», о котором и на краю могилы вспоминает. Не будем говорить о тех, кто своих грехов — перед нею, такою вот! — не помнили и не помнят. (И литературе советуют забыть: старое, давнее!) Не ради них и не им в поучение женщина мучилась. А ради своих детей, которым в жизнь идти.

«Без стыда, старуня, рожу не износишь»,— успокаивает ее Мирониха. Да, и «рожа» изнашивается, но и совесть тоже, людская. Если слишком много на нее и долго все взваливать, если все на ней везти, да на «характере»,— как говорит героиня завалившемуся Игрене.

Даже световой луч, свет «устает» — предполагают ученые. Пронесся луч сквозь миллиарды световых лет и, гляди, уже что-то сместилось в спектре... А совесть, а характер — им что, износу не бывает? Нет, и тут возможна «амортизация» — не об этом ли «Привычное дело» Василия Белова? Вялый и горький рефрен: привычное, мол, дело — в сознании и в поведении крестьянина живет как умирающее эхо прежних его порывов, поступков, попыток не со всем, что плывет, навязывают, соглашаться. А тут — по-о-оплыл по течению. А что, барахтаться! Привы-ычное дело! В одном произведении «деревенской» литературы всего, возможно, и не вычитаешь, но если выстроить их в цепочку: от «На Иртыше» и «Полесской хроники», через «Жизнь Федора Кузькина» и «Пряслиных» да к «Привычному делу», «Канунам»,— как раз и прослеживается, как делалось и как сделалось «привычным» для крестьянина то, против чего он когда-то и буйствовал, и бушевал, с чем совесть и чутье земледельца не могли поладить.

А потом: а, привычное дело!

Такая вот жанровая сценка из жизни: черная еще, ранняя весна 1950 года, дядьки сидят на бревнышках, бригадир безнадежным голосом спрашивает: «Може, пора уже, дядьки, пошли давай, дядьки...», от него отшучичиваются-отмахиваются: «Рано еще. До вечера времени сколько еще...» А по улице такой же дядька везет сено — на ферму, очевидно. Сидит на высоком возу, не поворачиваясь, ни на что не реагируя. Почти из каждого двора, из калиток, как только поровнялся с ними воз, выбегают баба или пацан,и стаскивают охапку сена, уносят в свои сараи, где ревет голодная скотина. Дядька «не замечает», как уплывает из-под него воз, как он все ниже оседает задом,— все меньше сена остается под ним...

Привычное дело!..

Газета «Правда» в номере от 17 ноября 1979 года напечатала открытое письмо землякам Федора Абрамова, в котором говорится пусть жестокая, пусть обидная, но «правда в глаза» — о том, что необходимо преодолеть, изжить, если мы хотим иметь надежное во

всех отношениях сельское хозяйство. Это те проблемы, которые действительно «не объедешь ни на каком тракторе».

«Изменились условия труда,— пишет Федор Абрамов,— тракторы, комбайны, грузовики и прочее железо, как некоторые коротко называют разную технику, давно уже прочно вошло в быт деревни». (А от себя добавимі именно то «железо», на которое так уповает Цыбулька и сам автор комедии-репортажа «Таблетку под язык», когда они высмеивают всякую там «любовь к земле».)

Техника имеется в совхозе на родине Федора Абрамова.

«Но за счет чего все эти отрадные перемены? За счет надоев, привесов, урожаев? Увы, нет. Увы, за счет государства. За счет всевозрастающих государственных вложений и дотаций...

Конечно, государство, город в немалом долгу перед деревней, и нынешняя материальная помощь ей вполне оправдана. Но помощь помощью, а как же использованы эти огромные средства, эти народные миллионы в Верколе?»

Используются они с удивительным, обескураживающим безразличием к тому, что и техника, и удобрения, и скот — все это не «дядино», а народное, а значит, и ваше, твое.

«Я не поверил,— говорит писатель,— когда мне сказали, что за июль этого года пало восемь телят. И отчего? От истощения среди лета, когда трава кругом». А уж о зиме и говорить нечего! «В прошлом году, например, по 2 килограмма сена на день давали корове, а весной даже солому с Кубани завезли (это в край-то бескрайних трав!) И где уж тут надои наращивать. Сохранить бы вживе скотину».

«Людей мало?» — спрашивает Федор Абрамов.— 117 человек числится в Веркольском отделении — куда же больше? А на сенокос вышло? 41 человек, чуть больше одной трети. Да и эти 41 работают ли с полной отдачей? И т. д. и т. п.

«Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный заброд, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе».

Литература определенного направления, заметим к слову, немало способствовала такому «выветриванию» — в свое время. Но и сегодня не хочет она своей вины замечать и голосом какого-нибудь деда (или внука) все подбадривает нас: ниче-е-его, техника вывезет!

Иван Африканович, вечный, давно махнувший рукой даже на самого себя, Иван Африканович с его удобной присказкой «а, привычное дело!» встает за всем, о чем с болью пишет Федор Абрамов.

«В деревне нет недостатка в работящих, талантливых и совестливых тружениках. И у них болит сердце, когда видят сгноенное сено, погибающих телят, пьяных подростков. «Разболтались... разболтались»,— самокритично говорят они между собой. Но почему не слышно их требовательного голоса? Почему никто из них не хочет идти в бригадиры, в управляющие? Почему они даже детей своих взрослых отговаривают от участия в управлении хозяйством?

Равнодушие, пассивность, нежелание портить отношения с односельчанами... И вечная надежда на строгого и справедливого начальника, который откуда-то приедет и наведет наконец порядок. Почти как у Некрасова: «Вот приедет барин, барин нас рассудит».

И подводя итог письму: «Да, о многом, об очень многом заставляют думать веркольские дела. Однако, если сказать коротко, все, в конце концов, упирается в равнодушие и пассивность. Нет активного, заинтересованного требовательного отношения...»[1]

И тем большая цена таким, как распутинская старуха. Для которых «привычным» все это не сделалось, не стало. На таких все и держалось.

Так что, не стоят они поклона? Последнего поклона!

Только умеем ли мы это делать — проводить? Провожать. Или, как дети старухины, разучились? А может, и не научены.

В повести Виктора Астафьева «Пастух и пастушка» Люся жалуется любимому, провожая его в новые бои, в смерть:

«— Раньше бы хоть помолились,— сказала Люся, теребя отвороты его шинели,— Но мы же не верующие. Атеисты мы... Завыть бы, как в старину, по-бабьи, во весь голос... Но мы же в школе учились. Нельзя!..

— Вот-вот! Только этого еще и недоставало! — оглядываясь на машины, пробормотал Борис, несильно отстраняя ее от себя»[2].

А потом как ему будет недоставать такой вот именно, «в голос», жалости, когда тихо, устало умирать будет в санитарном поезде...

Не потому ли так ждет свою ласковую Таню-Таньчору непривычная к «нежностям» старуха, что теперь ей, как слабому ребенку, как раз это и нужно — открытая нежность, жалость, боль на лицах, в глазах детей. «Задерживает» она себя на этом свете, смерть отстраняет на несколько дней — все из-за того, что не хватает ей какого-то разговора с детьми. Если бы сказали ей, что из-за этого она ломает все «сроки», удивилась бы, возможно. Чего ей еще хотеть: приехали,

---

[1] Абрамов Ф. Чем живем — кормимся,— Правда, 1979 17 ноября.
[2] Астафьев В. Повести,— М., 1977, с. 537.

вон аж откуда, сидят при ней, хотя у них свои дела, работа! Вот только Таньчору не повидает перед концом. Да и тут старуха себя, по привычке, винит. «В чем ее вина, она не понимала», знала лишь, что «нельзя матери столько не видеть свою дочь». С детьми она не может заговорить о главном — о том, что с ней, в ней и вообще происходит. О том, что она умирает. Сразу — нарочито веселое: «Да ты что, мать!.. В гости с тобой пойдем, ага. Чего нам дома сидеть!» Или раздражение. Где притворное, а где и настоящее.

«— Помру я,— жалобно, пытаясь что-то объяснить, пролепетала старуха.

— Мама, мне уже надоели эти разговоры о смерти. Честное слово. Одно и то же, одно и то же»[1].

С Нинкой, ребенком, разговор получается. Ведь та ничего не понимает: «Вот умрешь, я всегда буду здесь спать». И с Миронихой получается: она все понимает.

Она такая же смертная, как и старуха. Не то, что те «бессмертные». Конечно, с детьми не о том бы, не так надо, как с Миронихой, а с ней, подружкой, можно вот и так, будто им обоим очень весело:

«— Оти-моти! Ты, старуня, никак живая?.. Тебя пошто смерть-то не берет? — Мирониха присела к старухе на кровать и, говоря, наклонялась к ней.— Я к ей на поминки иду, думаю, она, как добрая, уж укостыляла, а она все тутака. Как была ты вредительша, так и осталась. Ты мне все глаза измозолила.

— Ты рази, девка, не знаешь, что я тебя дожидаюсь,— с охотой включаясь в игру, отозвалась старуха,— Мне одной-то тоскливо будет лежать, я тебя и дожидаюсь...

— О-о. Ты меня не жди, сподобляйся, я покамест побегаю, и ты ко мне не присуседивайся. Чем с тобой лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму...»[2]

Вроде бы грубая и ласка, и жалость Миронихи, но глухой стены между умирающим и «провожающим» нет. «Смертны» обе! Хотя и верят в «бессмертие».

В повести «Последний срок» есть страницы, которые прямо «вписываются» в классику,— это когда старуха берется учить Варвару обряду «провожания». Репетирует с дочерью, как ее, старуху, оплакивать.

«—Помру я,— повторила старуха и сказала:— Обвыть меня надо.

— Че надо?

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 552

[2] Там же, с. 481.

— Обвыть. Оне не будут. Тепери ни ребенка ко сну укачать, ни человека в могилу проводить — ниче не умеют. Одна надежа на тебя. Я тебя научу, как. Плакать ты и сама можешь. Надо с причитаньем плакать.

Похоже, Варвара поняла, на лице ее выступил страх.

— От слушай. Я ишо мамку свою тем провожала, и ты меня проводи, не постыдись. Оне не будут,— Старуха вздохнула и прикрыла глаза, приводя в порядок давние, полузабытые слова, которыми теперь не пользуются, потом тонким, протяжным голосом начала: — Ты, лебедушка моя, родима матушка...

— Матушка-а-а! — качая головой, словно отказываясь участвовать в этой затее, взвыла Варвара.

— Да не реви ты,— остановила ее старуха,— Ты слушай покуль, учись. Не надо сичас реветь. Я ишо тут. Слезы на потом оставь, на завтрева. А то кто-нить придет и перебьет нас. Давай потихоньку.

Она подождала, пока Варвара немножко утихнет, и начала снова:

— Ты, лебедушка моя, родима матушка...

— Ты, лебедушка моя, родима матушка,— сквозь рыдания повторила за ней Варвара»[1].

Надо ей это, чтобы «обвыли» ее, старуху, не сейчас, так потом. Себя ей все-таки жалко. Но их «христовеньких» (как сказала бы тетка Дарья), немых, еще жальче!

Не умеют (разучились или не научились) они «проводить»: что родную Матёру, что родную мать! «Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу — нет, бегут...» — скажет Дарья в «Прощании с Матерой»[2]. Так и не сказали друг другу главного: ни мать детям, ни дети матери. Но они ее муки видят, видели, ее боль и тоску, а она — нет. Даже если была, испытывали, не увидела бы, прятали бы от нее. Чтобы не думала, что они думают, что она умирает. Все ради того, чтобы ей было «легче»... Но ей как раз от этого еще тяжелее.

Что, это только сегодня так? А вчера люди умели это делать — лучше, умнее, человечнее? Кто умел, а кто — и это гораздо чаще — не умели. Во всяком случае, если по литературе судить: «Смерть Ивана Ильича», «Семья Тибо»...

Жить так, чтобы смертью смысл жизни не уничтожался, а потому и не страшной была бы смерть,— к этому звала великая литера-

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 549—550.
[2] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 37.

тура. Искала смысл жизни, звала к осмысленной жизни. Ибо то, что дает смысл жизни, дает и смысл смерти. (Это мысль Сент-Экзюпери.)

Валентин Распутин заговорил о вечных проблемах человеческого бытия и сказал свое слово. Горькое получилось слово — если иметь в виду старухиных детей!

«— Ты живой, нормальный' человек —вот им и будь.— Люся выдержала небольшую паузу и тем же ласковым голосом сказала:—А нам сегодня надо ехать, Так получается, мама.

— Да вы че это?! — вскрикнула Варвара.

Старуха, не веря, оторопело покачала головой.

— Надо, мама,— мягко, но настойчиво повторила Люся и улыбнулась.— Сегодня пароход. А следующий будет только через три дня. Так долго ждать мы не можем»[1].

Так долго парохода — и смерти матери! — дожидаться не могут. Дела, работа. Но когда и Варвара бросилась: «Раз все, то и я. Вместе-то веселей»,— вот тут обнажились весь ужас и вся бессмыслица такого существования человеческого, когда на главное нет ни времени, ни сердца. На все остальное тоже мало, но на главное чаще всего нет и вовсе!

«Ее растолкала Нинка.

— Возьми, баба,— Нинка протягивала ей конфету. Старуха отвела ее руку.

— Они нехорошие,— жалея старуху, сказала Нинка об отъезжающих.

Губы у старухи шевельнулись — то ли в улыбке, то ли В усмешке...

...Ей хотелось спать. Глаза у нее смыкались. До вечера, до темноты, она их еще несколько раз открывала, но ненадолго, только чтобы вспомнить, где она была.

Ночью старуха умерла»[2].

Горькое получилось у Распутина слово о детях. Но от нравственной немочи никто не знал, не изобрел лекарств сладеньких — ни Толстой, ни Роже Мартен дю Гар. Не пытается, не хочет «сладким» кормить и Распутин.

Хемингуэй в «Фиесте» очень лаконично определил чувство совести: «Это и есть нравственность: если после противно».

Мы уже говорили о том, как эмоциональный фокус «военной» литературы смещался к женской и даже детской памяти о войне.

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 553.

[2] Там же, с. 555.

То же происходит, происходило, по моему ощущению, и в современной литературе, которую называют «деревенской». Где-то у истоков явления этого стоят абрамовские «Братья и сестры». А потом была «Пелагея» — щемящий гимн-плач о женской судьбе-доле. По ним, по женщинам, война и послевоенная разруха, обездоленность ударили особенно больно. Мужики, они и есть мужики. Кто не пал на войне — очень немногие в русских деревнях — вернулись в «бабье царство». Бабье-то оно было бабье, но царили они — редкие, а потому на вес золота, мужики-начальники. Но даже если и не начальники, им было чем душу отвести. Как умел это и добрейший, простодушнейший Иван Африканович из «Привычного дела». Сена корове нет, а что в лесу накосил, бригадир «арестовал» — ничего, дело привычное, найти бы только выпить! А можно и хлеба, который легче достается, поискать — в других краях. Жены, бабы с места стронуться не могли: на них — дети!

И приходилось вертеться, как только им ни приходилось вертеться!

«— Ты как золотой волной накрывшись... Искры от тебя летят...

Так плел ей, рассказывал Олеша-рабочком про свою первую встречу с ней, про то, как увидел ее у раскрытого окошка за расчесыванием волос. А сама она из этой встречи только и запомнила, что резкую боль в голове (лапу в волосы запустил, дьявол) да нахальные, с жарким раскосом глаза...

И Олеша совсем ошалел:

— Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог — через неделю сделаю пекарихой. Я не шучу.

— А и я не шучу,— ответила Пелагея.

Через неделю она стала пекарихой — сдержал свое слово Олеша. Со скотного двора ее вырвал, все стены вокруг разрушил — вот как закружило человека.

Ну и она сдержала слово — в первый же день на ночь осталась на пекарне. А под утро, выпроваживая Олешу, сказала:

— Ну, теперь забудь про мои волосы. Квиты. И не вздумай меня снимать. Я кусачая...»[1]

Когда мы записывали наших женщин в Брестской области для книги «Я из огненной деревни», встретилась нам такая «Пелагея», доярка. Белорусская сестра Пелагей, которая тоже сверх меры горячего хлебнула! Начиная с войны... Спалили ее деревню, семью убили, а она шестилетняя... Но вот ее рассказ:

---

[1] Абрамов Ф. Пелагея — В кн.: Деревянные кони. Л., 1972, с. 31—33.

«Потом заходят в хату полицман и немец и выгоняют. И согнали в одну хату, а много нас было, половину села согнали. И начали выводить.

Сразу трех мужчин, а потом и батьку уже во второй тройке вывели. Просто пришел немец и «драй, драй» на пальцах показывает. Сами люди выходили, ведь куда же ты денешься, он гранату показывает — выходи…

Ну и батька вышел со второй тройкой. Мать поглядела… что батьку повели уже, а детки малые… Она за свою семью и нас, малых, повела за отцом…

Повела за ним… Старшие две сестры были у меня, а мать несла маленького. Дитя. Было ему год. А сестра уже несла другого, два года мальчику было.

Доводили нас до сарая. Тогда я забежала как-то наперед сестре. Немец ей в затылок выстрелил, а меня с ног сбил, и я так осталась. Она на меня упала так вот — от шеи до пояса, а на ноги — других людей куча навалилась… И уже когда тут побили, дак стали бить на другом конце деревни. А я уже лежу.

Остались три хлопца раненые, мои ровесники раненые, в трупах. Я подняла голову, они плачут, раненые, кровь течет из них. И я заговорила с ними, чуть голову приподняла. И тут летит немец. Долетел до них и из винтовки просто подобивал…

Потом уже гудят машины, едут немцы. Я уже, должно, в обморок упала… Немцы уже стали отъезжать, визжат свиньи, куры кричат, они уже ловят. И слышу, кто-то подошел к трупам и говорит… Мужчина один из села подходит и говорит:

— Кто живой, вставайте, немцы уехали!

Батька мой узнал его по голосу, поднялся и говорит:

— Ну, я живой.

И еще один мужчина, Левон Ализар. Дак батька говорит ему:

— Ты иди домой, возьми хлеба, а я еще погляжу семью свою…

И он начал смотреть. Говорит:

— Все дети мои есть, одной только девочки нема.

Стал он оглядывать, и я отозвалась…

Ну, и батька мой обомлел над этой грудой.

…Батька мой пожил немного, а после войны от ран тех и помер, гангрена подпала в ногу».

У женщины этой пятеро детей. Хорошие, как и их мать, работящие ребята, девочки. Но отца дети не знают. А точнее — отцов. Знает деревня — всех этих бывших председателей да уполномоченных…

Но кто бросит в нее камень, в женщину? Если помнишь вместе с ними, нашими женщинами, если знаешь, как им доставалось, и в войну, и после.

С Даниилом Граниным, среди прочих, записали мы рассказ женщины, которая в блокаду была партийным секретарем одного из цехов завода. Рассказала вроде обо всем, но потом, как бы решившись и как бы испытывая нашу, сегодняшних людей, способность по-человечески правильно увидеть и понять, вот о таком поведала. Направили ее цех — женщин, заготавливать дрова. Дрова, как и хлеб, для ленинградцев означали тогда жизнь, победу над смертью. И понятно, почему так забеспокоилась Мария Андреевна, когда увидела, что команда ее «растворилась» среди фронтовиков. Ведь фронт был тут же, где и дрова заготавливали. Испугалась Мария Андреевна: ни дров, ни женщин!

Говорят мне: «По лесу надо их искать».

Ну, до меня, значит, дошло это дело. Причем, я смотрю, что мои бабки-то... морщинки-то стали расходиться. Я смекнула, в чем дело...

Я, значит, думаю: что же мне делать? Ну, потом думаю: надо ведь что-то делать.

Решила Титову Василию сказать:

— Васенька, бабки-то ведь, знаешь, к мужикам ходят, они их подкармливают.

Он говорит:

— Ну, а что делать? Ничего ты с ними не сделаешь. Голод-то ведь есть голод.

Я говорю:

— Слушай, они такие все грязные. А ребята все-таки из армии, питались, еще не успели обголодаться-то.

Моряки-то все ведь были, здоровые такие...

Думаю, пойду я к генералу. Там землянка недалеко от нас была. Я пришла к нему и говорю:

— Вот, товарищ генерал, меня завод послал сюда вести заготовку дров. Я — секретарь парткома.

Он поглядел на меня, значит,— вид у меня неказистый был — маленькая да худенькая, отеки, волосы за веревку зацапаны... Он мне такого матюга дал! И говорит:

— А ты кого привезла?

Я говорю:

— Слушайте, чего же вы ругаетесь-то...

— И какой ты секретарь?!

Я говорю:

— Ну, хотите верьте — хотите нет. Какого прислали, такого — вот и глядите на него.

Он говорит:

— Мы ведь вот сегодня здесь, завтра — наступление, мы в наступление идем.

Я говорю:

— Но ведь мне нужны дрова, у нас на заводе нет дров. С чем я приеду? Меня тоже под расстрел отдадут. Скажут, что ты там делала?

Он говорит:

— Жалко мне тебя, девчина. Хорошо, я тебе помогу: я тебе дам красноармейцев, они тебе будут пилить дрова.

Ваське я сказала:

— Знаешь, Вася, не знаю, что будет,— договорилась!

Он говорит:

— Ты знаешь, ты только не обращай... не нервничай... (Он всегда меня успокаивал.)

Ну, хорошо. Иду на делянку. Пилы шумят! (Пилят красноармейцы дрова.) Я думаю: ладно! Я собираю... не всех женщин могу собрать,— я собрала бригадиров. Говорю:

— Слушайте, бабки! Зачем же нас сюда послали? Дрова-то нам нужны будут. Сколько будет война — неизвестно. Дров-то нет...

Нас ведь дрова послали заготовлять!

Молчат. Никто ничего не говорит. Все, значит, виноваты. Ну что? Сказать: «Ты больше не будешь?» Голод есть голод! За хлебом и идут! Потом я говорю:

— Ну, ладно. Вот давайте так договоримся: я вижу что вы поправились все,— полкило хлеба отдать девчонкам!

Да... А с генералом договорилась я. С ним воевал Лёня,— его сын, молодой парнишка был, ему 18 лет Он с ним, с отцом, был. Я ему говорю:

— Знаете, что вот вы — отец. У вас есть ребенок Со мной пятнадцать человек девочек. Родители их погибли на нашем заводе. Так как здесь полкило хлеба — вот они у меня на лесозаготовках.

Мы ее спросили, Марию Андреевну:

«— Ну, а когда домой ехали, говорили, обсуждали смеялись?

— Нет, ни слова никто!»

Не будем обсуждать и мы тоже.

Заметим лишь, что такая память, если и вырвется то с болью. У мужчин память обычно «парящая», легче отрывается от реальной правды пережитого. Мы в этом убедились, записывая многие сотни рассказов — и мужчин и женщин. И в Белоруссии, и в Ленинграде У

«мужиков» и тут преимущество: в самом горьком и обидном они легче находят что-то для себя утешительное или возвышающее. Как один нам рассказывал — об очень даже невеселом, но все время радостно восклицал: «Я был воинственный! Я же был воинственный! Я же воинственный был!»

Женская память обычно ближе к реальности пережитого, менее податлива давлению и эрозии времени Вот она-то и притягивает сегодня и «военную» и «деревенскую» прозу ближе к «земле», ко всей правде войны и послевоенных трудностей. И не случайно лучшее что «деревенская» проза дала (а Распутин так и весь — начиная с «Денег для Марии»),— это прежде всего летопись женской доли.

И особенная острота чувства там, где глазами матери муки детей в военном аду или глазами детей — материнская трагедия. Блокадница Рачковская Нина Михайловна нам с Граниным написала: «Пришла домой и сварила кашу, заварила какао и в первую очередь стала кормить мать, но она уже есть не могла... Она начинает закрывать глаза, но мы в этот момент начинаем плакать, и она опять открывает глаза. Так продолжалось несколько раз, и я поняла, что мы ей не даем умереть, и я сказала детям, девчонкам, чтобы все отошли от кровати и плакали в другом углу комнаты, так как она все равно умрег. Когда очень скоро я подошла к кровати, мать была уже мертвая. Она была такая маленькая, что я смогла взять ее на руки и перенесла в другую (холодную) комнату».

* * *

Сохранили душу живу, пройдя через всё, через такое пройдя,— вот величайший итог народных побед! В этом пафос и смысл лучших произведений и «военной» и «деревенской» прозы. Но в «деревенской» мы еще вычитываем и вопрос: ну, а через современную жизнь пройдя, часто «налегке», сохранили ли то, что сберегли в тяжелейших испытаниях? Техника убивающая не сломила ли нас, людей, ну, а технический век, НТР — не унесут ли они, не уничтожат ли вместе с тысячами видов животных и растений, вместе с «малыми реками» и пр. и пр. многое и в самом человеке? То, что на первый взгляд и не самое значительное, не главное, даже мешающее атомному веку, но потом окажется, что без этого человеку неуютно рядом с себе подобными. Обнаружится, что потерял умение быть счастливым, способность давать счастье другим.

Нет, ни Шукшин, ни Айтматов, ни Друцэ, ни Распутин этого не утверждают, они лишь спрашивают. Как и наши белорусы — Стрельцов, Сипаков, Жук, Карамазов (правда, голосом менее решительным).

И самое ценное в этой литературе, что спрашивает она вовремя. Правдой жизни, искусства, характеров убеждает, что спрашивать надо, думать надо, беспокоиться. Без этого как действовать — не взвесив всего, не заглянув в прошлое, не понимая того, что живет в глубинах человеческих душ и до чего не добирается ни статистика, ни логика, ни политэкономия, ни математика? Только литература туда проникнуть может, и никто ей не простил бы, когда бы она не выполняла свой долг и прямую обязанность. А критикам, которые считают, что не тем занимается литература, такая литература, ответил когда-то еще Твардовский:

Все учить вы меня норовите,
Преподать немудреный совет,
Чтобы пел я, не слыша, не видя,
Только зная, что можно, что нет.
Но нельзя не иметь мне в расчете,
Что потом, по прошествии лет,
Вы же лекцию мне и прочтете:
Где ж ты был, что ж ты видел, поэт?!

В «Прощании с Матёрой» есть удивительная сцена: внезапный туман, какой-то невиданный, «неземной», вдруг закрыл и как бы унёс Матёру. Ни от нее уйти-уехать, ни к ней пробиться!

«Туман стоял сплошной стеной, и катер, казалось, топтался, буксовал на месте, не в силах выбраться за нее, за эту отвесную стену, снова и снова соскальзывая с ее кручи; Павел не помнил, чтобы он когда-нибудь попадал в такой туман, настолько густой и плотный, что с трудом, будто из глубокого и темного колодца, пробивалось смутное мерцание воды. Глаза упирались в сплошное серое месиво и невольно зажмуривались, закрывались от его близости...

— Долго что-то,— почуяв недоброе, насторожился Воронцов, стоявший от Галкина слева.— Где мы? Почему так долго? Остров, что ли, потеряли? А?

— Найдем,— без уверенности ответил Галкин...

Проплыли еще минут пятнадцать — вдвое больше того, чем нужно, чтобы наткнуться со своей Ангары в Матёру или Подмогу — ничего: ни берега, ни знака какого, ни просветления, одна вязкая и бесконечная, еще больше, чудилось, загустевшая, как студень, масса тумана. Галкин повернул к Павлу лицо, спрашивая, что делать, куда поворачивать, и Павел в ответ пожал плечами: не знаю.

— Глуши,— решившись сказал он.

Галкин поднялся и заглушил двигатель. Павел вышел на борт, прислушиваясь, как затихает шуршание воды и тумана,— самой

воды уже не было видно совсем. Он взял чурбан, на котором перед тем сидел, и кинул его вниз — там глухо и вязко плеснуло, там, значит, была все-таки вода»[1].

Очень соблазнительно начать разгадывать этот «туман» — не символ ли? И кто его напустил — не Хозяин ли? Чтобы отсрочить гибель Матёры, спрятать старух от жизни, которой они боятся, к которой не готовы?.. Не дым ли это придавил всех и все? (Дарья, помните, жалуется на кладбище тем, кто «стал землей»: «Ды-ы-ым-но у нас. Продыху нету от дыма».) Или же наоборот — глоток свежести задыхающимся легким земли?!

Но не будем изобретать символы и разгадывать загадки, которые сами же себе и задаем. Попробую пойти за чувством, за первыми ощущениями и мыслями, которые возникли из чтения — из первого чтения.

Из множества ощущений, ассоциаций извлеку несколько. Свои мысли на Енисее... И наконец — острое чувство, что где-то уже читал об этом, и удивление, когда такая ниточка привела... к финальной сцене романа «Идиот». Да, к той, где убийца и жертва, будто в странном тумане, не слыша ни себя, ни друг друга, шепчутся возле прикрытой белой простыней Настасьи Филипповны.

Когда плывешь по широченному, как море, нижнему Енисею — да, наверное, и по любой из сибирских, как бы неземного масштаба рек,— не можешь не ощущать все еще вчерашнюю мощь природы, сопротивляющуюся всему «рукотворному». Помню предательскую по отношению к собственному роду — человеческому — радость, что не везде, пока еще не повсюду единоборство человека и природы закончилось в пашу пользу. («В пользу ли?» — слишком часто мы сегодня спрашиваем.) Со злорадством, направленным против самого же себя, замечаешь, что предъенисейские леса и кустарники съели некоторые поселения 30-40-х годов: сквозь ребра-стропила мертвых человеческих строений просвечивает небо...[2] И помня, что главные «легкие планеты» — вокруг Амазонки — люди дотравливают дымами и пожари-

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 191—193.

[2] Этим чувством живет порой и литература, сегодняшняя. С горьким самокритицизмом люди — цари природы — и пишут, читают о себе сегодня: «В природе не может быть главных существ. В ней царит равноправие... Природа была до человека и, следовательно, может обойтись без человека, так же как без льва и без орла, без всяких этих царей. А появились они для пользы, чем-то они нужны друг другу, так же как нужен комар и муравей. Человек тоже для чего-то полезен, но в отличие от других существ он еще не знает, для чего он, поскольку появился недавно. Самомнение его от молодости и невежества. Человек все старается узнать про других, на что они могут сгодиться ему, человеку. А про себя не изучает — зачем он природе? Смысл жизни мы ищем, как цари, считаем себя царями природы, потому и не находим. Какой есть смысл у червяка? Готовить землю и служить пищей для птиц и рыб. И для человека природа определила его назначение, которое и есть смысл его жизни» (Гранин Д. Картина — Новый мир, 1980, № 1, с. 64).

щами, радуешься не новым поселениям, а бескрайним, все еще диким зеленым массивам...

Вот и это вспомнилось, когда «плыл» вместе с главным «пожегщиком» Воронцовым, его подручным Петрухой по Ангаре, отыскивая Матёру, и радовался спасительному туману...

...Странная, очень странная — чем-то очень напоминающая петербургскую «фантастику» Достоевского — сцена на острове, где в бараке Богодула ночуют последние жители Матёры, чего-то дожидаются, а их куда-то уносит остров, туман и странный, дикий, пугающий их самих, разговор...

«Заплакал со сна, тревожно и неутешно, мальчишка, и старухи очнулись, завозились, распрямляясь и вздыхая,— они так и не укладывались, дремали сидя, каждая на своем месте, кто где устроился с вечера и остался после разговора. Сима, что-то наговаривая, стала успокаивать мальчишку, и он умолк, срываясь временами лишь на слабые и подавленные всхлипы. В курятнике у Богодула было даже и не темно, а слепо и исподно: в окне стоял мглистый и сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вяло и бесформенно шевелилось — будто проплывало мимо.

— Это че — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина.

— Дак, однако, не день,— отозвалась Дарья.— Дня для нас, однако, боле не будет.

— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

— Однако что, неживые.

— Ну и ладно. Вместе — оно и ладно. Че ишо надо-то?

— Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчонке жить надо.

Испуганный и решительный голос Симы:

— Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе.

— Вместе дак вместе. Куды ему, правда что, без нас?

— Ты не ложилась, Дарья?

— Я с тобой рядом сидю. Не видишь, ли че ли?..

— А ты кто такая будешь-то? С этого-то боку кто у меня?

— Я-то? Я Настасья.

— Это которая с Матёры?

— Она. А ты Дарья?

— Дарья.

— Это рядом-то со мной жила?

— Ну».

Будто где-то в космосе встретились. Или еще где. Там, где тьма непроглядная, или как у Распутина неожиданно: «непроглядный свет».

«— Я ить тебя, девка, признала.

— Дак я тебя поперед признала.

— Вы че это? Че буровите-то? Рехнулись, че ли?

...— Че там в окошке видать-то? Гляньте кто-нить.

— Нет, я боюсь. Гляди сама. Я боюсь».

Действительно, как бы уносит их Матёра, улетают на ней!..

«Уставились в окно и увидели, как в тусклом размытом мерцании проносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи очертания. В разбитую стеклину наплескивало сыростью. Сполз с нар проснувшийся Богодул и приник к окну. Его заторопили:

— Че там? Где мы есть-то? Говори — че ты молчишь?

— Не видать, кур-рва! — ответил Богодул.— Туман.

Старухи закрестились, нашептывая, задевая друг друга руками. И опять, только еще более потерянно:

— Это ты, Дарья?

— Однако что, я. А Настасья где? Где ты, Настасья?

— Я здесь, здесь»[1].

Греются друг о друга — телом, голосами, именами, привычно произносимыми...

«— Ты бы свечку зажег,— сказал князь.

— Нет, не надо,— ответил Рогожин, и, взяв князя за руку, нагнул его к стулу; сам сел напротив, придвинув стул так, что почти соприкасался с князем коленями».

Это уже из «Идиота»...

«— Рогожин! Где Настасья Филипповна? — прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами. Поднялся и Рогожин.

— Там,— шепнул он, кивнув головой на занавеску.

— Спит? — шепнул князь.

Опять Рогожин посмотрел на него, пристально, как давеча.

— Аль уж пойдем!.. Только ты... ну, да пойдем!

Он приподнял портьеру, остановился и оборотился опять к князю.

— Входи!— кивал он за портьеру, приглашая проходить вперед...

Князь шагнул еще ближе, шаг, другой, и остановился. Он стоял и всматривался минуту или две; оба, во всё время, у кровати ничего не выговорили; у князя билось сердце так, что, казалось, слышно было в комнате, при мертвом молчании комнаты... Спавший был закрыт с головой белою простыней, но члены как-то неясно обозначались; вид-

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 194-195.

но только было, по возвышению, что лежит протянувшись человек... Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул.

— Выйдем,— тронул его за руку Рогожин».

«— Это ты? — выговорил он наконец, кивнув головой на портьеру.

— Это... я...— прошептал Рогожин и потупился.

Помолчали минут пять»[1].

И все в таком вязком темпе, и на все ложится «непроглядный» мертвящий свет...

«— Слушай...— спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить, и как бы тотчас же забывая,— слушай, скажи мне: чем ты ее? Ножом? Тем самым?

— Тем самым».

«— Стой, слышишь? — быстро перебил вдруг Рогожин и испуганно присел на подстилке,— слышишь?

— Нет! — так же быстро и испуганно выговорил князь, смотря на Рогожина.

— Ходит! Слышишь? В зале...

Оба стали слушать.

— Слышу,— твердо прошептал князь.

— Ходит?

— Ходит.

— Затворить али нет дверь?

— Затворить...

Дверь затворили, и оба опять улеглись. Долго молчали».

Убийца и повязанный с ним невольной виной князь Мышкин постепенно отрываются от реальности, как бы от самой земли — их уносит, от всех и всего уносит. Только они теперь и «близкие» друг другу: убийца, соучастник и жертва!

«— Значит, не признаваться и выносить не давать.

— Н-ни за что! — решил князь,— ни-ни-ни!»

«Когда Рогожин затих (а он вдруг затих), князь тихо нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать... Между тем совсем рассвело; наконец он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина...»[2]

---

[1] Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. В 30-ти т.—Л., 1973. Т. 8, с. 502—503

[2] Достоевский Ф. М, Поли. собр. соч., т. 8, с. 504—507.

Известно, что последняя сцена романа «Идиот», фрагменты которой мы привели, возникла первой в сознании писателя. У Валентина Распутина было по-иному, но внутренний динамизм и его. столь же «замедленной», заключительной сцены исключительный, она — эмоциональная, болевая вершина произведения.

* * *

Наш XX век практически заострил мысль, не раз вспыхивавшую — где искрой, а где и факелом — в культурах и философии самых разных цивилизаций, мысль, которой жили в веке XIX Лев Толстой и Федор Достоевский, а Альберт Швейцер, уже в наше время, выстроил мысль эту в теорию «благоговения перед всем, что есть живого». (Для него самого это была практика, норма поведения в мире, где мы не одни.)

«Добро — это поддерживать и развивать жизнь; зло — это вредить жизни и разрушать ее»,— провозглашал Альберт Швейцер»[1].

И — чисто практическое:

«Всякий, кто привык считать недостойной жизнь любого из живых существ, рискует прийти также к идее недостойндсти человеческой жизни, идее, которая играет столь губительную роль в мышлении наших дней»[2].

Техника сделала человека «сверхчеловеком»,— так продолжает свою мысль великий гуманист XX века,— но «сверхчеловек этот самым роковым образом страдает, духовным несовершенством. Он не обладает сверхчеловеческим разумом, который царил бы над этой сверхчеловеческой силой... Знание и мощь дали пока результаты, которые оказались скорее губительны для человека, чем полезны...»[3]

Это говорилось, писалось во времена, когда Европа и мир уже познали, чем может стать человек, у которого в руках современная сверхтехника, а в голове — коротенькие, убогие расистские идейки.

Эту уродливую тенденцию развития классового общества угадывали, предвидели еще классики марксизма, когда писали: «Победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что, по мере того как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом своей собственной подлости»[4].

---

[1] Цит. по кн.: Носик Б. Швейцер,—М., 1971, с. 30.
[2] Там же, с. 308.
[3] Цит. по кн.: Носик Б. Швейцер, с. 340.
[4] Маркс К. Речь на юбилее «The peple's paper».— Маркс К-. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 12, с. 4.

Наша «военная» литература показала и осмыслила многие грани и глубины этого процесса, со страшной периодичностью сопровождающегося войнами, все более разрушительными.

Когда Бертольд Брехт страстно вопрошал у себя и у других: как можно писать о деревьях, если убивают людей? — он выражал состояние кризиса, когда, казалось, не до «деревьев» было. Но совсем немного минуло времени, и стало очевидно, что темы эти для литературы не противостоящие — люди и мир природы («деревья»),

У нас это новое самосознание литературы наиболее остро заявило о себе в романе Леонида Леонова «Русский лес» (1953). Любопытно, как в этом произведении «трагедия леса» и военные трагедии людские переплетены даже сюжетно: для Леонова мир неделим. Так удивительно ли, что в 70-е годы проза «деревенская» с ее пафосом спасения всего живого в природе и в человеке, что проза эта нравственно и эстетически сомкнулась с современной литературой о войне.

Василь Быков, отвечая на все тот же давний вопрос читателей, кто и когда напишет «Войну и мир», сказал, что пишут и напишут ее лучшие наши «военные» писатели всей суммой лучших своих произведений. Если согласиться с этим, тогда я добавил бы: вместе с теми, кто пишет о «деревьях». А сегодня — это прежде всего «деревенщики»[1].

Любопытный пример сведения в один фокус судеб людских и судеб «деревьев» находим мы и в белорусской прозе. Еще в годы войны был написан классиком нашей прозы Кузьмой Чорным рассказ «Большое сердце» — о том, как немцы, воюя с партизанами, пытаются убрать мешающий обстрелу старый могучий дуб, который для жителей деревни — как бы часть их самих. С ним у каждого связаны воспоминания о детстве, представление о старике-дубе связано с делами, мыслями множества людей: ведь он всегда был на виду. А для оккупантов он помеха, как бы даже партизанский лазутчик. Немцы тщетно пытаются спилить толстенный дуб, потом огнем жгут-пытают, наконец вроде бы умертвили, но не до конца... Крестьянин Порхвен (герой рассказа «Большое сердце») «глянул туда, где по ту сторону

---

[1] Снова и снова употребляя термин «деревенщики», выражение «деревенская проза», испытываешь невольное чувство вины, потому что помнишь, как раздражает и обижает оно самих писателей, об этом говорят, пишут Виктор Астафьев, Борис Можаев. Но раздражают их, думается, не сами слова, а то, что слишком часто критика наша увязывает писателей вот так, в один «узелок», чтобы колотить было удобнее —всех за одного и одного за всех! Но у меня совсем другая цель, а что касается самих определений: «деревенщики», «деревенские писатели», то сегодня по заслугам принадлежать к этой могучей когорте талантов — великая честь. И вряд ли есть причины обижаться на сами термины, слова. А критике, исследователям оии пока необходимы. Прав был В. Крупин, говоря в статье «Наболевшее», что обойтись трудно без этих терминов: «Нравится кому или не нравится термин «деревенская проза», но он оказался настолько живуч, что без него немыслим ныне любой серьезный разговор о современной литературе. Больше того, сам термин дожил до тех времен, когда и деревень в привычном смысле этого слова почти не осталось...» (Литературная газета, 1979, 3 окт.).

улицы, на огороде, солнце уже должно было быть на вершине дуба. И внезапно вздрогнул: он увидел в небе черный высокий ствол без ветвей, и только один толстый и тоже черный сук снизу зеленел густыми новыми побегами...»

Сцена «покушения» на «царский листвень» в «Прощании с Матёрой» — больше чем метафора. Все читается как действительно подготовка и попытка осуществить убийство: Пришли откуда-то какие-то люди, старухи пугливо, брезгливо называют их «пожегщиками», а о себе они сами говорят немного, только зловеще и весело повторяют: «У нас шестью шесть — тридцать шесть», «Как дважды два — четыре...»

У них топоры, у них бензопилы, и они, эти орудия, разумеется, не прячут — в отличие от известного нам поклонника «элементарной математики» Родиона Раскольникова. Они что, они же не людей, они лишь вот это дерево должны убрать — для пользы дела!

Но так прежде литература описывала действительно лишь убийство.

Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», который возвышался, возглавлялся среди всего остального, «как пастух возглавляется среди овечьего стада», что этим деревом-гигантом «и крепится остров к речному дну, к одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра»[1].

Вот чем он был для тех, кто жил здесь. И чьи отцы-матери лежат в этой земле.

А для «пожегщнков»?

«—Ого!— изумился мужик! — Зверь какой! Мы тебе, зверю... У нас дважды два четыре. Не таких видывали»[2].

«Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь, нависая над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор на удивление. соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой.

— Как железное,— признал он и опять ввернул непонятную арифметическую угрозу: — Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять—двадцать пять»[3].

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 159.
[2] Там же, с. 161.
[3] Там же.

Да что же это за существа такие?!

Начинаешь на них глазами испуганных старух смотреть. Эти вот. И те, что пришли кладбище рушить. А может не в них зловещее — не в них самих? А в их работе, в деле, к которому они приставлены.

«Было их то пятеро, то семеро — мужики, не в пример прежней орде, немолодые, степенные, не шумливые. Поселились они в колчаковском бараке, через стенку от Богодула, больше на Матёре устроиться было негде, и по утрам проходили по деревне с верхнего края на нижний, и дальше на работу, а вечером с нижнего на верхний возвращались обратно. Работой своей и казались они страшными — той последней, окончательной работой, которой на веки вечные и суждено закрыть Матёру. Они вышагивали молча, ни с кем не заговаривая, ни на что не обращая внимания, но твердо, посреди дороги, с хозяйской уверенностью в себе, и один их вид, одно их присутствие заставляли торопиться: скорей, скорей — пока не поджарили. Они ждать не станут. Собаки и те чувствовали, что за люди эти чужие, и, завидев их, с поджатыми хвостами лезли в подворотни. А тут еще прошел слух, что «поджигатели», как их называли, подрядились заодно с лесом спалить и деревню»[1].

Но кому-то надо исполнять и такую работу — если это для общей пользы. Их, этих реальных, конкретных «поджигателей», даже пожалеть можно: работаешь для людей же, а они вот как смотрят! Даже собаки тебя пугаются!

«И хоть злиться на них, рассудить если, было не за что, не они, так другие сделали бы то, что положено делать, но и водиться, разговаривать с ними никто из деревенских желания не испытывал: делали-то они, глаза видели перед собой их»[2].

Обычной логикой можно «припереть к стенке» и Распутина, и его повесть.

Конечно, не так, как Воронцов, надо бы действовать («Граждане затопляемые»!..), следовало по-человечески разъяснить, сделать все, не оскорбляя чувств старых людей и т. д. и т. п. Но строить все равно надо, а значит, и что-то рубить, затоплять. Электричество и старухам не помеха. Упадет красавец-листвень на «низкой Матёре» — встанут на «высоких землях» красавцы-города!

Дарье, может быть, и не «прирасти» к новому поселку — «прирастет» ее молодая невестка, а внуки так и наверняка. Сам же Распутин об этом говорит в повести: о том, что и непривычное

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 148.
[2] Там же, с. 148—149.

человек полюбит в конце концов — если труды в него вложит. Труды человека роднят с землей. («Через год, два доведись перебираться куда, жалко будет и поселок. Труда положили, дак што...»; «Привязчив человек, имевший свой дом и родину, ох как привязчив!») Создали когда-то колхоз, но стал он не богатеть, а беднеть — жалоб на жизнь хватало. Но вот, прощаясь с Матёрой и с той колхозной жизнью,— перед тем, как перебираться в новый поселок,— собрались «матёровцы» на последний сенокос.

«Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать слез. И подступали с вопросом:

— Че вам надо было? Че надо было, на что жалобились, когда так жили? Ну? Эх, стегать вас некому.

И соглашался народ, задумываясь:

— Некому»[1].

Вот и в этом правда — и жизни и памяти правда. И Распутин ее не упускает.

«Где поддадимся маленько, где назад воротим свое. Были бы силы да не мешали бы мужику, он из любой заразы вылезет»[2].

Нет, не о том повесть Распутина: надо или не надо строить электростанции? И даже не о том, стоит или не стоит затоплять вот эту конкретную Матёру.

Повесть Валентина Распутина о людях: какие они, какими быть им?

И тут уж арифметика не главный аргумент. А часто и совсем не аргумент.

Дарью неотступно мучит вина — не ее это вина, чужая вроде бы, но берет она на себя.

«— Я-то виноватая, виноватая»,— жалуется-винится она своим покойникам, отцу-матери на кладбище,— «я уж потому виноватая, что это я, на меня пало»[3].

Уже в том себя виноватой считает, что при ней — не раньше и не позже, а при пей! — Матёра уйдет под воду («Это на моем, не на чьем веку отрубит наш род и унесет», «Почему, почему при них, кто живет сейчас, ничего этого не станет на этой земле — не раньше и не позже»). У других же есть, однако, на все, что бы ни происходило, что бы ни делали, и объяснение и оправдание: «Не мы сделаем — так сделают другие!»

Два принципа, две формулы.

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 90.
[2] Там же, с. 112.
[3] Там же, с. 155.

Мы за все в ответе, что было при нас,— это еще Павел Нилин сформулировал в «Жестокости». А еще раньше и по-своему — Достоевский («Все и перед всеми виноваты»), И вот этот же принцип главенствует в жизни народной, как ее видит, понимает, как ее отображает Валентин Распутин.

А второй «принцип», «формула времени» — «Не мы — так другие, какая разница!»

Этой «формулой» руководствуются все «пожегщики». Похоже, что всегда руководствовались. И даже считали всегда, что они лучше других прочих: те еще больнее, еще не так сделали бы! Спасибо еще скажите — нам, «пожегщикам»!

Не в том беда, что разные существуют «принципы», «формулы» у людей (это было всегда), беда подступает, когда границы между добром и злом становятся зыбкими, понятия начинают смешиваться, подменять друг друга. Валентин Распутин не только утверждает добро против зла, говоря о людях, но и свидетельствует, что «пожегщики» умеют, если нам не быть начеку, приучать слишком многих к капитулянтской мысли: мол, не этот, так другой! Не я, так другие!..

Вон даже Дарья, непримиримая и горячая, когда дело касается таких вещей, даже она...

«— Че ты расстоналась? Че ты себя так маешь? Не знала ты, ли че ли, какой он есть, твой Петруха? Али только он один у тебя такой?.. Заладила: страм, страм... Не он, дак другой бы сжег. Свято место пусто не бывает — прости, господи!»[1]

Но она, может быть, просто так — чтобы смягчить укоры совести матери «пожегщика»?..

А Петруха — не только по работе, как некоторые мужики, что готовят Матёру к потоплению, а по душе, по психологии — «пожегщик». Мелкий, жалкий, даже смешной, но из той породы. И не жестокость его делает безразличным к земле отцов. Скорее наоборот. Безразличие к тому, что думают о нем люди, даже мать родная, беспамятство делают бездушным и жестоким. Опасным для жизни.

Пустодум, пустопляс он, как и Клавка Стригунова, которая тоже «ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся деньги»[2].

Петруха первый это проделывает, даже досрочно, не заботясь, что его матери придется искать угол у людей.

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 139.
[2] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 51.

«— Он живую избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет. Не в землю, в воду он тебя, в воду, чтоб не хоронить»,— сердито говорит Дарья бесприютной Катерине, когда она, бедная мать, все еще хочет оправдать своего Петруху. Хотя бы тем оправдать, что «беспутный, дак че...»

«— Вот и поговори с ей,— всплескивала Дарья руками.— Я ей про дело, она — про козу белу... Ну и захвати тебя с Петрухой вместе! — вот дал господь кормильца...»[1]

Да, жалок он, Петруха. И повесть Распутина умеет пожалеть человека, даже повинного в самом главном грехе: у которого ни совести, ни души, ни корней человеческих — на земле и среди людей. Именно за это и пожалеть.

«У вас давно уж ноги пляшут: куды кинуться?» — говорит Дарья —«Вам что Матёра, что холера... Тут не приросли и нигде не прирастете, ниче вам жалко не будет. Такие уж вы есть... обсевки»[2].

И она же, Дарья, объясняя, почему ей «всех людей жалко», говорит внуку:

«Ты думаешь, не надоело тому же Катерининому Петрухе дурачком прикидываться? Он ить парень не глупой, не-ет. Он знает про себя, что кочевряжится, а не живет. Но уж не оборотится, из вредности не захочет. Направил свою дорожку и пойде-от, пойдет по ей до конца. Да че Петруха! С Петрухи и спросу нету. На сурьезного человека посмотреть, который навроде по уму живет, а и он боле того приставляется. И он не сам собой на люди выходит, кого-то другого из себя корчит. Чем он, другой-то, лутше тебя? Пошто ты, какой есть, не живешь, а все норовишь притвориться. У сватьи Татьяны невестка была за Иваном — Гутька, форсистая такая девка, ишо косоглазой любила прикидываться, дерьгала свои глазенки почем зря. Дак она, Гутька, молоток за уборну прятала. Ежли кто увидит, что она туды идет, она щас молоток в руки и давай стукать. Навроде как по то и шла, чтобы доску прибить. А спросить ее: кто туды не ходит? Каку холеру стыдиться?! От так и все мы. По прибитому бьем. Человек сотворен, жить пущен, а ему, ишь, другого себя подавай. Запутался, ох, запутался, вконец заигрался.

— И ты, бабушка, тоже?

— А че я? И я себя другой раз ловлю, что не то делаю. Ить ниче не стоит сделать как надо — нет, ноги не туды идут, руки не то берут. Будто как по дьяволу наущенью. Ежли это он, много он успел

---

[1] Там же, с. 82.
[2] Там же, с. 108.

натворить, покуль народ хлестался, есть бог али нету... Я че?! Не мне людей судить. Да ить глаза ишо видят, уши слышат. Я тебе боле того скажу, Андрюшка, а ты запомни. Думаешь, люди не понимают, что не надо Матёру топить? Понимают оне. А все ж таки топют»[1].

«Деревенская» литература и здесь, и в этом —во взгляде на человека как на нечто самое сложное, трагически сложное, что только есть на земле,— сблизила «невоенную» литературу с «военной».

Ну, на войне или «возле войны» — там человек весь раскрывается. Там он весь и со всем — что в нем есть и чего уже нет. К этому нас уже приучила литература последних 20-25 лет.

Но ведь здесь жизнь самая что ни на есть мирная, даже «рутинная», и вдруг беспощадное обнажение самых глубинных мотивов и состояний! — что и говорить, такого наша русская литература (да и не только русская) не знала после «Жизни Клима Самгина» и «Мастера и Маргариты».

«Катерина стала думать, следует ли ей стыдиться перед людьми, знакомыми и незнакомыми, за себя и за Петруху, если сам он не ведает стыда? И если она теперь стала никому не нужной — ни сыну, ни, тем паче, чужим людям, будто ее и нет на свете? А может, и верно сделать вид, что ее нет, а то, что ходит в ее шкуре, ни для чего не годится — ни для совести, ни для стыда?

...А Дарья думала о том, что она чувствовала бы на месте Катерины, какими защищалась бы словами. То же самое, наверное, и чувствовала бы, то же и говорила. И так же отвечала бы, наверно, Катерина на ее, на Дарьином месте. Это что же такое? Дарья впервые .так близко задумалась над тем, что значит в жизни человека положение, место, на котором он стоит... Куда девается человек, если за него говорит место?..»[2]

А на стыке «военной» и «невоенной» есть у нас литература, которой порой критика и не замечает, привыкнув мыслить «блоками», распределив писателей по «обоймам», спискам. Но и вне привычных «обойм» существуют произведения, в которых продолжается та же глубина человековедения, которую мы сегодня находим в лучших произведениях «военной» и «деревенской» литературы.

Когда мне в 1978 году попал в руки сборник прозы Евгения Дубровина, я, начав читать повесть со странным, пародийно беккетовским названием — «В ожидании козы» и поняв, что это о детях, «детская литература», ждал от страницы к странице, с минуты на минуту,

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 120—121.
[2] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 140—141.

что вся глубина вещи, сначала поразившая, скоро перейдет в отмель, типичную для подобной литературы. Вначале, конечно, поконфликтуют, если так автору понадобилось, дети с отцом — выросшие, отбившиеся от рук за войну дети с вернувшимся из военной, лагерной «одиссеи» отцом, но в нужный момент все образуется. Не образовалось! Потому что страсти у детей из дубровинской повести не игрушечные, которые можно включать и выключать по желанию. Самые что ни на есть подлинные страсти и проблемы в этой повести. Ни умения, ни времени у их отца-матери не хватало, чтобы справиться с дикой и часто злой фантазией своих сыновей, которую распалила война и безотцовщина не в удобно придуманном мире, как часто бывает в «воспитательной» литературе, а в самом что ни на есть реальном, со всеми трудностями и искажениями, уродствами тех лет, когда можно было прожить преотлично и даже возвышаться, ломая судьбы и жизни другим людям. Отец до партизанского отряда в немецком плену был, а сын в майскую стенгазету оконную замазку завернул — для завхоза школы (да и не одного завхоза) все ясно: яблоко от яблони не далеко падает! И даже дочка завхоза с молодой увлеченностью выполняет свое задание в этой будто бы патриотической акции.

Но главное в повести — сами дети — Вад и его старший брат, от имени которого ведется повествование,— непонятно жестокие по отношению к отцу и даже к самим себе. Непонятно жестокие, если выключить из времени, когда это происходит. Но и временем всего не объяснишь. Автор совсем не претендует растолковать, объяснить все. Для настоящей литературы никогда не было все в человеке ясно. «Человек — тайна»,— говорил Достоевский, и он всю жизнь разгадывал тайну человека. Как делали это и Пушкин, и Толстой, и Булгаков, и наши — Колас, Горецкий, Чорный.

Кончается повесть Евгения Дубровина трагически: отец и мать, чтобы спастись от голода и детей своих, все еще не прирученных, спасти, отправляются в соседний район купить козу, на нее теперь вся надежда. Да так и не вернулись. «Люди говорили, что тогда много было пришлого народу: шли в родные места или искали лучшего края, и многие пропадали бесследно. Такое уж тогда было время. После миллионов смертей дешево ценилась простая человеческая жизнь»[1]. Дешевле козы.

---

[1] Дубровин Е. В ожидании козы,— В кн.: Счастливка: Повести. М., 1977, с. 156.

А тем временем в родительском доме продолжалась странная саморазрушительная вакханалия детского своеволия, приведшая к гибели (похожей на самоубийство) младшего сына, Вада.

«Дорога была пуста до самого горизонта, но в каждый момент там могли показаться родители с бегущей сзади козой. И мне придется отчитываться за все. Я тогда еще не знал, что мои родители никогда не придут и мне не перед кем отвечать»[1]

Суда не будет, кары не будет. Но это самое страшное, потому что некому будет снять и вину.

«С тех пор прошло немало лет. У меня самого уже сын, который скоро пойдет в школу. Все реже снятся родители, и я уже почти не помню их лиц. Полные приключений годы детства кажутся теперь прочитанными в какой-то книге. Лишь осталось от всего этого тревожное чувство перед пустынной дорогой. Так и чудится, что вдали покажутся двое с козой и мне придется держать ответ за все, что делал не так...»[2]

За яростной веселостью повествования в этой трагической вещи Евгения Дубровина пульсирует мысль о бесконечной сложности жизни и самого человека. То появляется среди персонажей, то исчезает так и не разгаданный детьми до конца, то ли действительно родной дядя их, то ли авантюрист и бандит — некто Авее Чивонави.

Весь он изранен, изрезан, обгоревший и заново «составлен из кусочков». Пока думают, что он брат их матери, дети не замечают, как он страшен. Они гордятся «дядей-летчиком» и тем, как он ловко «сшит из лоскутков». Но потом возникает подозрение, что это самозванец, присвоивший имя их дяди, возможно, жулик и даже бандит, прячущийся под своей лоскутной кожей. А кто он был на самом деле, так и остается загадкой.

Загадок и неразгаданного жизнь оставляет немало за спиной у каждого из нас. Дай бог, себя-то разгадывать без опоздания!

Человеческая сложность нашей литературы, разумение того, что не однозначен человек и что сам он порой всего себя не знает и всю жизнь открывает в себе новые «острова» и даже «материки»,— где, в чем источники этой правды? В самом времени нашем, требующем не иллюзий, а правды о человеке, даже если она и жестокая. И само собой разумеется — в талантах, в жизненном опыте самих писателей.

Но также и в опыте самого народа, столько испытавшего, познавшего за последние полвека. Народная память — это не всего

---

[1] Там же, с. 96.

[2] Дубровин Е. В ожидании козы,— В кн.: Счастливца Повести

лишь резервуар чувств и воспоминаний о пережитом. Народ вынес из всех испытаний не только «душу живу» — о чем уже говорилось. Огромная людская масса городов и деревень вынесла из нелегкого прошлого и новое знание о человеке, о том, что есть в нас и чего нет, что мы можем и чего не можем —заново выстраданное представление о пределах человеческих.

Тут еще раз обращусь к материалам, характеризующим память людей, переживших трагедии белорусских Хатыней и блокаду Ленинграда.

Большинство рассказов, которые мы слышали, записывали, когда делали книги «Я из огненной деревни» и «Блокадную», несет в себе народное чувство общей судьбы — и в горе, и в радости. Да, и в радости,— если выстроить в один ряд воспоминания о прорыве блокады. И увиденную трамвайным водителем огненную воду Невы, которая будто поднялась и с гневным громом летит через головы туда, где 900 дней, закопавшись, сидели истязатели ленинградцев... (Это били стоявшие на Неве наши военные корабли.) И счастливый, озорной крик девушки в госпитале: «Андреенко, прибавляй хлеба!» (Андреенко И. А. подписывал публикации о снижении или повышении нормы выдачи продуктов). И тот драгоценный сырок, который маленькая девочка — цветов у нее не оказалось — отдала солдату в День Победы.

Особой нравственной насыщенностью рассказов создается и оправдывается жанр подобных книг. Без такой нравственной атмосферы слишком многое могло бы показаться ненужной жестокостью, даже патологией. И наоборот, благодаря изначальной нравственности народной памяти появляется возможность поведать и о том, о чем литература не рассказывала.

Это не всего лишь угадываемая нравственность, но и сознающая себя, свое право судить, судящая и приговаривающая. Как в том рассказе простой белорусской женщины, даже неграмотной, которая громко спрашивала нас, а через нас — целый мир: «Так что же это такое делается?.. Какая же это война?! Ну, взрослый, ну, он хоть бы солдат... Но дети, дети!.. Ребенок!.. Оно же, как яблочко катилось, а они бьют, разрывными, искры скачут... От зверья так хоть на дерево заберешься, спрячешься, а человек, он же человека найдет!..»

А другая женщина, в другом рассказе, как бы отвечает, объясняет, кто же они, эти существа в образе человеческом. Загнали женщин в избу, а мужчин в сарай. Сначала, как обычно, первых убивали мужчин, а женщины из окон все видели: как их выводили, как один старик, «крепкий такой дед», «взял немца поперек и

поставил на карачки», а другие немцы — «га-га-га, набежали, убили деда».

Женщины, дети из окон смотрели, видели (вот какой «телевизор» изобрели фашисты!), как вырывались их мужья, отцы, пытались бежать и все полегли в поле...

Затем взялись за избу — выволакивали под те же окна матерей с детьми и убивали. Те, кто был подальше от дверей, все еще смотрели в окна.

«— А это дочку мою с внучкой... А это мамку мою повели...»

Женщина, единственный уцелевший свидетель, жертва того дня, сказала нам:

«— И хоть бы слезинка у кого!»

Женщина не говорила, не спрашивала: как могут люди людей — вот так?! Не утверждала, как предыдущие: «Это не люди, это звери были!» Но фраза ее: «И хоть бы слезинка!» — сказала обо всем, выразила все.

В фильме Стэнли Крамера «На последнем берегу» есть сцена: огромные тихие очереди стоят за усыпляющими таблетками — за безболезненной смертью для себя и близких. Стоят матери с детьми, возлюбленные... Вспыхнула и закончилась атомная война, вся планета убита, отравлена, смертоносное радиоактивное облако надвигается и сюда — на последний оазис жизни... Признаюсь, тихая сцена . Стэнли Крамера мне показалась искусственной, стерильной, излишне красивой. Но как он угадал то, о чем знает, что наблюдала воочию женщина, пережившая трагедию одной из Хатыней: «И хоть бы слезинка!»

Плачут, взывают, когда ты погибаешь, а мир остается, когда даже убийцы — люди, и ты сознаешь, что они слышат, способны услышать. Или небо способно услышать. А если одно на всех радиоактивное облако? Или убивают всех, всех без разбора людей какие-то инопланетные насекомые? Нечто из другой цивилизации, а точнее — антицивилизации. Удивительно передано это в Ленинградской симфонии Шостаковича — массоподобное движение, наползание обесчеловеченной силы... Тут скажешь, как та женщина: «Я уже не хотела жить, раз я одна на всей земле остаюсь»... Фашизм, атомный гриб — это и есть проникшая в нашу цивилизацию, рожденная ею же антицивилизация.

И потому люди перед тем страшным «телевизором» не плакали.

В народной памяти о войне не только свой особенный нравственный климат. Но и глубочайшее понимание человека, разуменне, что он такое, что может он, а чего нет, что можно, а чего нельзя требовать от него.

Прожив под обстрелами, бомбежкой почти три года, учительница Ползикова-Рубец К. В. и в своем дневнике спорит «с самим Львом Толстым» — о психологии человеческой. «Я иду пешком до вокзала от Новой Деревни. Езжу в поликлинику через день... И никогда не приходит мысль: «А может быть я не дойду?» Это не храбрость, а привычка. Лев Толстой не прав, когда говорит: «Прежде Ростов, идя в дело, боялся, теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своей душой перед опасностью...» Мы именно привыкли. Мы ложимся спать под звуки сирены, под вой зениток, под звуки обстрелов, и мы засыпаем без усилия от физической усталости, от привычки засыпать в эти часы, и будит нас только сила звука. Разумом мы знаем, что опасность нам угрожает, но чувство молчит. Я слыхала рассказ Зои об ее тетке, буквально разорванной на части снарядом при обстреле Балтзавода... Ее удерживали в помещении, но она со словами: «Меня никакая пуля не берет» — выбежала и сразу попала под снаряд».

В любом другом случае я (наверное, так же, как и вы) взялся бы отстаивать абсолютный авторитет Толстого. А здесь промолчу: не я жил три года, спал три года под обстрелами...

После опубликования «Глав из «Блокадной книги» мы с Граниным получаем письма. Многие — от бывших блокадников.

«Я блокадница и блокадная мать. Муж был в армии, вернее, флоте, в Кронштадте... Я родила 28 июня 42 г. девочку. В блокадном роддоме... И блокада сидит во мне и не выйдет никогда...»

Все письмо Болотниковой Юлии Владимировны об этом: как глубоко сидит блокада в них, переживших ее. В их памяти, в их болезнях, судьбе. И в особенном понимании самих себя и других людей.

«Я читала, не помню в каком номере, Вы писали про двух матерей. Одна не стала кормить одного из детей, а другая накормила ребенка своей кровью. Я бы ни так и ни так не сделала...»

Юлия Владимировна имеет в виду статью «Возможности жанра», которая была опубликована в 1976 году в «Новом мире». Позволю себе привести из нее выдержки, чтобы ясно было, с чем спорит автор письма. В статье, в частности, рассказывалось: «Женщина, которая в самые страшные дни декабря 1941 года лежала в морозном, темном, без воды, без канализации вымирающем доме и кормила ребенка буквально собственной кровью — материнского молока и никакой другой пищи не было, так она прорезала исхудавшую руку и давала

сосать вместо груди,— женщина эта тоже спасала Ленинград, не давала ему умереть...

В том же доме и даже в квартире той поселилась другая женщина. «Такая вроде бы видная, рослая из себя»,— рассказывали нам. И у нее тоже двое было детишек: мальчик и девочка десятимесячная. Когда снизилась норма хлебная до 125 граммов, стала «смертельной» (по словам рассказчицы) погибель, смерть неудержимо устремилась к детям и одной и другой женщин.

Первая собой их заслонила — «открыла жилы».

Вторая перехватил а ее, смерть, рукой человека, ожесточившегося до крайности. Перехватила, чтобы отвести ее от мальчика, старшего. Но какой ценой отвести?! И куда направить?.. «Получу карточки на троих, а кормить буду только его. И ты сделай так»,— советовала она соседке.

Нам адрес давали, той, несчастной. Не пошли мы с Даниилом Александровичем. Побоялись. Постыдились подсматривающе слушать человека. Не нам, не пережившим такое, лезть в судьи.

Пусть судят те, кто право имеют — сами все это испытавшие».

И вот перед нами такой человек — действительно переживший все это, а потому судить право имеющий. И женщин тех и наше, авторов «Блокадной книги», отношение к фактам и людям.

В словах и фразах горячего письма бывшей блокадницы, порой бессвязных от боли, волнения, такая непосредственная связь с самой реальностью обстановки и переживаний блокадных дней, что тут уж только вслушиваться в глубины, трагически открывшиеся тысячам людей,— психологические и нравственные глубины.

«Я бы ни так, ни так не сделала,— пишет Юлия Владимировна Болотникова,— ни одного на смерть не могла бы осудить, а уж будь как будет: не смогла бы смотреть на того, кто остался бы жив. И он не смог бы жить ценой смерти другого. Не смог бы, я знаю. И кровь не дала бы пить. Не потому, что мне ее жалко ребенку. А потому, что даже самый крохотный ребенок все понимает. Я бы умерла (отдав кровь.— А.А.). А ребенок понимает, что он один, и я бы не смогла. Ему легче было бы умереть около матери, он все понимает, а то один».

У многих и многих, переживших ленинградскую блокаду, трагедию Хатыней и заглянувших куда-то за край (и в себя — на всю глубину), такое понимание природы человеческой и такой суд над добром и злом, что действительно впору вспоминать великих гуманистов. Не знаю, как объяснить,— возможно, жизнь так круто развернулась,— но то, что приходило на ум только «великим», что откровением звучало в книгах гениев, запросто звучит, живет в людях

вроде бы малоприметных. Женщины полесские, которые нам рассказывали про детей своих — про убитых и про живых, которыми счастливы сегодня, конечно же, не думали о том, что они вместе с Достоевским отгадывали тайну великую, человеческую: ложь или правда в библейской притче про старого Иова, у которого бог отнял счастье, убив детей его, а затем дал ему новое счастье — новых жен, новое богатство и новых детей? Взамен отнятых, утраченных.

Нет, я им поверил, этим женщинам, их глубоким, ничего не забывшим глазам, а не утешительным словам старца Зосимы. (Которому, кстати, куда как трудно оспаривать «бунт» Ивана Карамазова.) «...Старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость...»[1] Не споря, они (женщины) оспаривают это. Забвение оспаривают: не хотят они его и не могут хотеть, хотя память для них — пытка, мучение.

Вначале, когда я слушал ленинградских блокадников, у меня, ей-богу же, появилось чувство: будто читаю Достоевского! Даже ситуации часто совпадают. Как вот в этом рассказе — страшный, «блокадный» вариант Родиона Раскольникова:

«Здесь у нее была сестра, она жила у сестры. И вот когда она меня узнала... Ну, уж я не буду все рассказывать?..

— Если можете, все рассказывайте,— просим мы.

— Мы ездили на остров Голодай — на склад за дровами. Помогли друг другу санки тащить. С этого момента она меня и узнала. Она узнала, где я работаю. Она стала следить за мной. Почему — я не знала. Однажды осталась я вечером в столовой дистрофиков. Я там работала кассиром. Клеишь на старые газеты талончики (ведь строгая же отчетность!) и в то же время считаешь. Крыс было, что-то невероятное! Вот сидишь, считаешь на счетах, они придут и сядут. На столе. Придут и сядут — пожалуйста! Они же есть хотят! А любят еще качаться на весах, ох, как любят!

Так вот пришла та женщина и стучит. Старик у нас ночевал, грелся. И еще уборщица. Так они: «Вас вызывают». Я говорю, что если по имени и отчеству, тогда откройте. «Нет,— говорят,— спрашивают просто кассира».

Ну, она так стучала, что пришлось впустить.

Она говорит:

— Я есть хочу.

Я говорю:

---

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 14, с. 265.

— У нас ничего нету, и потом без карточек, и вообще повара все ушли.

Ну вот, она такими страшными глазами смотрела на меня, не моргая, и что-то она все время под пальто держала, чего она не вынимала.

— Вы ходите одна домой? Пойдем вместе сегодня.

Я говорю:

— Я не пойду.

Она стала требовать, чтобы я пошла вместе. Конечно, мы ее силой выдворили из столовой.

Когда я утром шла домой, здесь я уже слышу, что якобы она заманила женщину под предлогом пилить дрова и стала ее бить, стала ее тащить, и топор у нее был приготовлен. Хотела убить ее топором. Но женщина оказалась сильнее... И так она кричала, так кричала, что сломали дверь, отобрали топор. Потом ее забрали.

После десяти лет заключения, когда она вернулась, я видела ее» (из рассказа Поповой Ульяны Тимофеевны).

Наслушавшись такого, заново, новыми глазами будешь перечитывать и Достоевского — «бунт» Ивана Карамазова, например. Молодой атеист Максим Танк когда-то озорно сформулировал этот «бунт» в двух строчках:

Якому дурню далі свет зрабіць,
Які мы ўсё жыццё перарабляем.

Мол, какому это дураку поручили создать такой мир, который приходится все время переделывать.

Конечно же, не в Достоевскрм, не в начитанности, книжной культуре ленинградцев дело. Хотя эта культура и заявляет о себе во многих случаях, и очень многих. Но то же самое знание пределов человеческих, понимание человека, его падений и взлетов находишь и у самых простых деревенских женщин, даже неграмотных. Знание, понимание, которому человек ничуть не радуется: слишком дорогой ценой оно куплено, с очень горькой памятью оно связано. Такое всезнание и Достоевского терзало, так ему, писателю, оно хоть нужно было...

Но не знать человек уже не может. И не задумываться над вопросами, которые вроде бы по плечу только «великим»,— над вечными из вечных. Если не в словах, то в чувствах их решает. Но иногда и прямо, сознавая свое право на это, выстраданное право. Слишком многие должны были решать эти вопросы практически. И решали. Познавая себя, других, человека в обстоятельствах, где обнаруживалось все, испытывалось все.

И прежние представления каждого о самом себе — также.

Вот записи в поразительном дневнике 16-летнего школьника Юры Рябинкина:

«Хорошо бы улететь... Выкупить все конфеты на новую декаду и улететь, грызя их. Пожалуй, тогда у меня даже воспоминания об этой жуткой голодовке как-то смягчатся. А ведь что со мной было? Ел кота, убитого самим, воровал ложкой из котелков Анфисы Николаевны, утаскивал лишнюю кроху у мамы и Иры, обманывал порой их, замерзал в бесконечных очередях, ругался и дрался у дверей магазинов за право войти получить 100 гр. масла... Я зарастал грязью, разводил кучу вшей, у меня не хватало энергии и от истощения, чтобы встать со стула,— это была для меня такая огромная тяжесть! Непрерывная бомбежка и обстрелы, дежурства на школьных чердаках, споры и сцены дома с дележом продуктов... Я осознал цену хлебной крошки, которые подбирал пальцем по столу, и я понял, хотя, быть может, и не до конца, свой грубый, эгоистический характер! «Горбатого одна могила исправит»,—говорит пословица. Неужели я не исправлю своего характера?»

Видите, не только выжить, выйти живым из блокады, но человеком выйти — вот о чем он, умирающий от истощения (и умерший через короткое время) шестнадцатилетний ленинградец!

А пока жив, он внушает себе:

«Только бы начать! Завтра, если все будет, как сегодня утром, я должен был бы принести все пряники домой, но ведь я не утерплю, и хоть бы четверть пряника, да съем. Вот в чем проявляется мой эгоизм. Однако попробую принести все. Все! Все! Все!!! Все!!! Ладно, пусть уж, если и скачусь к голодной смерти, к опухолям! к водянке, но будет у меня мысль, что я поступил честно, что у меня есть воля. Завтра я должен показать себе эту волю. Не взять ни кусочка из того, что я куплю! Ни кусочка!»

Запись следующего дня — от 11 декабря 1941 года:

«У меня такое скверное настроение и вчера и сегодня. Сегодня на самую малость не сдержал своего честного слова — взял полконфетки из купленных, а также граммов 40 из 200 кураги. Но насчет кураги я честного слова не давал, а вот насчет полконфетки... Съел я ее и такую боль в душе почувствовал, что выплюнул бы съеденную крошку вон, да не выплюнешь...»

Вот интеллигентный человек, профессорского вида— таким смотрит с довоенной фотографии, таким кажется, хотя и сильно постаревший сегодня. Но когда знаешь о нем то, что и он знает, помнит, начинаешь понимать неуходящую из его глаз грусть слабого человека, навсегда потерявшего веру в себя: помнит он, помнит, что в

те страшные дни, уже не владея собой, хватал принесенные женой кусочки липкого хлеба, пытался съесть, а жена била его, отнимала и делила хлеб на четыре части — у них было двое умирающих детей.

И тут же рассказ о другом отце, который тайком от жены отдает маленькой дочери свой хлеб — свою жизнь и просит девочку не пугаться, если он замолчит и не будет больше с ней разговаривать.

А вот обычная ситуация, житейская, нравственная, которую испытали — на самих себе проверили — многие, очень многие блокадники. Человек потерял или у него украли карточки. Притом в начале месяца. Он и его семья обречены. Только случай, чудо могли спасти их — таковы были жестокие условия повседневного быта. Не люди, жестокие, бессердечные — это подчеркивают блокадники,— а условия.

Строки из дневника учительницы Ксении Владимировны Ползиковой-Рубец: «От Любы письмо. Мое она получила. Я так и думала. Она не поймет, что в смерти Богданова никто не виноват. Она пишет: «Неужели ни у кого не нашлось для него кусочка хлеба?» Как будто кусочек мог помочь. Может быть, прочтя этот дневник, она больше поймет».

Ученый-математик Ляпин Е. С. как бы обобщил для нас такие случаи:

«Поделиться просто было нечем, и он не просил. Человек погибал в ужасной обстановке. Это страшно... Он сидит в углу и знает, что каждый день к нему приближается смерть. Она приближается ко всем, но к нему в десять раз быстрее, ибо он ничего не ест, у него уже организм подорван, а ты не протягиваешь ему руку с половиной своей карточки, ты чувствуешь себя преступником, но тем не менее ты ему половины своей карточки не отдаешь...

Если вы скажете, что если бы взяли и дали? Я могу сказать, увы, я скажу то, что, может быть, тяжело и, может быть, даже не следует говорить: завтра другие, пятеро, пришли бы и сказали, что они потеряли свои карточки.

А государство и эти самые организации ничего сделать не могли бы, опять-таки по этой самой причине. Потому что если бы так сделали, то завтра в таком бюро выстроились бы тысячи, десятки тысяч людей. Причем это не были какие-то отвратительные люди, это люди, которые сами и близкие которых уже стояли на краю смерти».

Вы спросите, неужели действительно у всех и везде так бывало, если человек терял карточки? Нет. Мы не случайно назвали фразой, услышанной от блокадницы, одну из глав нашей первой публикации: «У каждого был свой спаситель». Почти каждый выживший говорил нам про того, про тех, кто его спас. Часто отрывая от себя, от семьи

своей последние крохи. Блокадница З. Островская пишет, как соседка принесла им, потерявшим карточки, стакан драгоценного риса, который получила от моряков, из последнего помогавших огромной, голодной семье их погибшего товарища. Вот так выстраивались никому невидимые цепочки спасительной человеческой взаимопомощи...

Потому-то блокадники, такое испытавшие, в массе своей сохранили глубочайшую веру в человека, в человечность. Но память их удерживает всю правду обстоятельств, которые бывали порой сильнее конкретного человека. А потому редко какой блокадник скажет не с жалостью, а с пренебрежением о людях, испытавших моральное поражение. Даже о тех, кто у него выхватывал хлеб в магазине. Слишком жестокими были муки голода, и не каждый в силах был их выдержать. Особенно снисходительны женщины и особенно к мужской части населения, которая вымирала в первую очередь.

Ну, а если даже над необоримыми обстоятельствами поднимается человек — тем большая заслуга его.

Вот та же ситуация — с утерянными карточками. Ольга Берггольц день, второй смотрела на невольного убийцу семьи — работника радио, потерявшего карточки, не выдержала и отдала ему свою. Хотя сама уже страдала дистрофией. То есть человек взял и отдал другому, малознакомому и даже малоинтересному для него человеку, свою жизнь. Ольга Федоровна, зная жестокую реальность, никак не рассчитывала на то, что произошло потом: другие работники стали ей помогать продержаться до конца месяца. И помогли.

И это тоже правда блокады. Ничего не отменяющая, но всему придающая иное звучание — возвышенно трагическое. Человек способен на многое, на очень многое, но как это горько, что жизнь снова и снова требует от него немыслимых жертв.

Блокадники сами рассказывают о духовных проявлениях, потенциях человеческих — как это им открылось в те дни и месяцы. Это — ив письмах, которые нам и в «Новый мир» присылают после публикации «Блокадной книги». Вот некоторые выдержки.

«...Опубликована правда о невиданном эксперименте, когда при полном распаде всех нормальных функций цивилизованного общества, при жизни рядом со смертью во всех ее фантастических обличьях, были проявлены неслыханные «потенции человеческого духа» (Раппопорт Цецилия Петровна, Ленинград, ул. Швецова 6, кв. 9).

А Людмила Николаевна Бокшицкая (Ленинград, ул. Кубинская, д. 26, кв. 54) в письме своем вспоминает:

«Я пережила блокаду в самом суровом смысле: без запасов, без помощи, но с верой, что скоро кончится. Но наступил момент, уже в

декабре, 1941 года, когда стало безразлично: не могли пойти выкупить хлеб, не вставали с кровати. Лежали трое: мама, сестра и я. Не реагировали на сигналы тревоги; не слышали, что летят бомбардировщики. И как вы пишете, «у каждого был свой спаситель». В нашу комнату вошла соседка Надежда Сергеевна Куприянова. Она решила, что и мы уже мертвые, так как в квартире, где было много жильцов, живых уже не было... Увидев, что и мы уже «залегли», что мы уже безразличны к тому своему состоянию, Надежда Сергеевна со словами, что она не даст погибнуть семье такой замечательной женщины, ушла. Скоро она вернулась с дровами. Затопила печку, принесла воду. Сказав, что им в госпитале дали кролика, поставила в печку кастрюлю с кроликом. Варился суп, она нас мыла, отгородив одеялом от основного холода. За эти дни' наша угловая комната первого этажа так промерзла, что тепло было только у печки в радиусе 1-го метра. Только после обеда мы узнали, что это кошка, наверное, последняя, а не кролик. Этот обед и это внимание позволили продержаться до 10 января 1942 года.

8 и 9 января мы опять без ощущения, что с нами происходит, лежали с мамой две дочери во всей одежде, не выкупая хлеб, и уже не говорили о нем, как это было раньше. Мама начала шевелиться, что-то, как мне показалось, во сне начала тихо спрашивать. А потом мама, как бы с испугом, задала вопрос: какое сегодня число. И по тому, что мы два дня не выкупали хлеб, установили, что было 10 января 1942 года. И вдруг мама сказала, что «в этот счастливый для нее день мы не должны умереть, сегодня же день рождения Люсёны!» То есть мой день рождения. Мы должны сегодня встать и устроиться на снегоуборочную работу. Очевидно, услышали по радио, что требовались рабочие... И теперь эту дату я считаю своим вторым днем рождения, но и днем рождения общим для мамы и сестры.

Мы пошли на улицу Скороходова, где был пункт по трудоустройству. Сначала мы делали по три шага и останавливались, но не надолго, затем по десять шагов... Я помню, как мы считали, чтобы не больше, боясь, что можем не справиться, как мы, останавливаясь, проявляли бдительность, чтобы не замерзнуть».

В поезде Брест — Ленинград рассказывала бывшая блокадница Селезнева Зоя Петровна, как жили они возле Серафимовского кладбища и как дворник точно в такой же ситуации, когда семья «залегла умирать», принес мясо и объяснил, что «коня тут убили, люди все тащат», и как мать сварила, накормила, спасла детей. До сих пор мучит Зою Петровну мысль о мясе том («Какое-то крупчатое, знаете,

какое-то такое!») и, главное, память про то, как мать долго рассматривала его, решала и решилась. И никогда потом об этом не говорила.

Вот и еще драма немыслимая — материнская, человеческая.

В сравнении с тем, что народ познал в войну да и в годы довоенные и послевоенные, что узнал, знает о человеческих пределах, наши записи — лишь отдельные «пробы», взятые зачастую наугад, хотя и в точках, где боль памяти особенно острая. Мы ощущаем, сколько у этой памяти вопросов к человеку и человечеству, ко вчерашнему и завтрашнему дню. Зачастую тех самых проклятых вопросов, которыми всегда мучилась великая литература. Если сама память народная ими наэлектризована, так разве могла литература — «военная», «деревенская» — их обходить, по-прежнему считая вопросы о смысле всего уходом от актуальных проблем? Сегодня мы их слышим и от девятнадцатилетних солдат («навеки — девятнадцатилетних») Григория Бакланова[1] и Вячеслава Кондратьева, которым достался особенно безрадостный, жестокий участок войны, и от вливающихся в идущую на запад Красную Армию молоденьких партизан в новом романе Ивана Науменко «Печаль белых ночей», которым предстоит умирать на самом пороге Победы, и даже от семнадцатилетних, которых в повести Виктора Козько «Судный день» война и смерть настигают уже в мирные дни...

Суд над карателями распечатал страшную память военного детства Коли Летечки: «Из красного выплыли пальцы-змейки со змеей-шприцем и указали ему на стол... Весь земной ужас сосредоточился для него на черной, косовато срезанной дырочке шприца»[2].

«Киндерхайм!» — самое страшное на земле слово — эсэсовский «детский дом», где у детей отнимают кровь...

Не может, не хочет Летечка жить дальше, хотя ему так необходимо это — пожить еще, чтобы хоть чем-то «отблагодарить белый

---

[1] Вот они," мысли и недоумения девятнадцатилетнего лейтенанта Третьякова — героя повести Григория Бакланова: «Трава родится и с неизбежностью отмирает, и на удобренной ею земле гуще растет трава. Но ведь не для того живет человек на свете, чтобы удобрить собою землю. И какая надобность жизни в том, чтобы столько искалеченных людей мучилось по госпиталям?,. Еще до войны прочел он поразившую его вещь: оказывается, нашествия Чингисхана предворял целый ряд особо благоприятных лет. Шли в срок дожди, небывало росли травы, плодились несметные табуны, и все вместе это тоже дало силу нашествию. Быть может, разразись над этим краем многолетняя засуха, а не сойдись все так благоприятно, и не обрушились бы страшные бедствия на народы в других краях. И история многих народов пошла бы по-другому... Но здесь, в госпитале, одна и та же мысль не давала покоя: неужели когда-нибудь окажется, что этой войны могло бы не быть? И миллионы остались бы живы?.. Двигать историю по ее пути — тут нужны усилия всех, и многое должно сойтись. Но чтобы скатить колесо истории с его колеи, может быть, не так много и надо, может быть, достаточно камешек подложить?.. Люди по размерам события судят о его причинах: огромное событие, значит, и причины такие, что не могло этого события не быть. А может, все проще? Сделать доброе дело для всех людей, тут многое нужно. А напакостить в истории способна даже самая поганая кошка» (Октябрь, 1979, № 5, с. 44—45).

[2] Козько В. Судный день,— Дружба народов, 1977, № 12, с. 88.

свет за то, что он видел солнце и небо, землю, за то, что он хоть и недолго, трудно, но все же жил на земле»[1].

Отблагодарить белый свет... Но из забытого детства такое вдруг всплыло, что свет белый померк. Само солнце, показалось герою Виктора Козько, «стыдилось взглянуть на землю. Оно тоже закрыло глаза и уши, чтобы не ранить себя памятью, чтобы, не дай бог, не проговориться, не напугать других людей и другие народы страхом и ужасом свершившегося здесь»[2].

Сколько мы их слышали, видели — женщин белорусских, которые как бы винились — не перед нами, а перед светом, перед всеми добрыми людьми! — в том себя винили, что знают, помнят все, что с ними сделали другие люди. Убили всех, сожгли всех на глазах у этих женщин: «спаслась я одна, а зачем, когда такое было? Вот убежала, а куда убежишь?!»

Частичка этой совести — высшей народной совести — и этой муки в героях Виктора Козько. И «вопросы» не придуманы, все оттуда — из души, из сознания, из памяти народа, пережившего такую войну и знающего такое.

...Не сможет ни остановить, ни забыть ничего, не сможет больше жить на земле с этой своей памятью. Беспамятным жил бы, а с памятью нет... Нельзя ему больше жить, нельзя, потому что в каждом человеке ему будет мерещиться та черная образина (со шприцем)[3].

«Виноват в том, что столько знает не очень хорошего о людях... Он винил себя за все то окружающее зло, что творилось на свете, за то, что ему выпало изведать его, за людей, к которым принадлежал и он сам, что дорогим ему будет больно его исчезновение»[4].

* * *

За последние годы литература не раз побывала в штабах дивизий и армий, и особенно часто — в ставках (нашей и вражеской), писателям в «окопах» не сиделось. Искали: кто точку обзора повыше, кто исторический размах, эпопейный масштаб. Одни — что повыше, другие — где поглубже.

А Быков, отдав все это другим, казалось, об одном все писал, все о том же: о передовой, о том, о тех, кто на бессрочной передовой. Пока их не ранят, пока не пропали без вести, не убьют...

---

[1] Там же, с. 90.
[2] Там же, с. 87.
[3] Козько В. Судный день.— Дружба народов, 1977, № 12, с. 87.
[4] Там же, с. 90.

Литература «военная» туда или сюда, а Быков — прежний и о прежнем: «Атака с ходу», «Круглянский мост», «Сотников», «Дожить до рассвета»...

Литература пела и то, и другое, а Быков все тянул (и тянет) свою трагическую оду (бывает такой жанр?), бесконечную оду «пролетариату войны» — пехоте: тем, кто бежит в атаку, т. е. убивать врага, или, засыпанный, корчится, добиваемый, доколачиваемый немецкими минами, снарядами, идет мост взрывать или добывать партизанский харч и, помимо всего этого, вроде бы немного, но чего хватило миллионам людей на четыре года, еще и тем занят, озабочен постоянно, чтобы сохранить в себе правду, идеал жизни человеческой, человека сохранить.

Да, «пролетариат войны». Пехота, по словам Василя Быкова, «в прошлой войне явилась не только царицей полей, но и пролетариатом всех битв, выигранных ее большой кровью».

До чего же много смысла в этой быковской формуле — «пролетариат всех битв» (выигранных и проигранных), в этом его определении роли и судьбы не только армейской пехоты, но и вообще всех, кто платил самой большой кровью и самыми большими человеческими страданиями.

Кто-то должен был написать и о том, и о другом — не только об окопах, но и о штабах, и о ставках. Литература всегда к этому устремлялась. Да и читателю хочется побывать там, куда без литературы не войдешь.

Но кто-то должен был и это: всего и навсегда отдать себя «пролетариату войны». Купала в свое время оговаривался: «А беларусы нікога ж не маюць, няхай жа хоць будзе Янка Купала!»

Ни Быков, ни мы сказать не могли — ни в 60-е, ни в 70-е годы,— что о «пролетариате войны», о тех, кто и составлял массу народную на войне, не пишет никто, и пусть — «хотя бы Быков»... Писали многие, хорошо и много писали. И тот же Бакланов — «Июль 1941-го», «Навеки — девятнадцатилетние», и Астафьев — «Пастух и пастушка», и Науменко — «Горечь белых ночей». Вспомнить можно и богомоловских работяг-разведчиков. А вынырнувший из безвестности и ставший вровень с уже знакомыми по лучшим произведениям героями — «пролетариями передовой» «Сашка» Кондратьева! А дошедшие наконец до широкого читателя пронзительно правдивые повести Константина Воробьева! Симоновские «Разные дни войны»...

Да, не один Быков писал, пишет о матушке-пехоте. Но никто так неотступно. Никто, кроме него, не отдал себя «пролетариату войны» в бессрочные писаря. Что ж, будем справедливы. Даже если вам больше

нравится, как пишут Бакланов, Симонов, или Науменко, или Кондратьев, вы должны будете признать, что всегда был и оставался, всегда при «пролетариате» был и остается — один Быков. Он один столь постоянен. Вот об этом, а не чтобы его над всеми как художника поставить — об этом здесь столько толкую.

Знаете, графически это можно вычертить так: прямая линия, просто тоскливо даже, какая она прямая — это Быков, его повести «все о том же», а пад этой прямой взвиваются, горбятся, то вверх поднимаясь, то книзу западая, зигзаги, параболы развития «военной» прозы. И не в укор это другим. Линия хороша одна, Быков хорош — пока он один. А всех бы заклинило на одном, да навсегда — что мы сказали бы? И читатель как бы зажаловался!

Да и самого Быкова все время и всем хотелось с этой линии столкнуть, поднять или опустить — поправить и куда-то направить. Ну сколько можно тянуть прямую, когда параболы так и пляшут, так и взвиваются! Аж до Ставки! Аж до эпопеи! Ну, еще одна повесть об «окопной правде», почти о том же снова, еще одна! Сколько можно, Василь? Скоро каждую новую быковскую повесть будут брать в руки не с нетерпеливым, жадным любопытством, как прежде, а с понимающе-снисходительной усмешкой: что, снова двое или трое в степи, в лесу? Снова — «критическая ситуация»?

Я и сам (хотя и гордился, признаюсь, репутацией критика, который «некритически берет под защиту даже спорные вещи Быкова» — такие замечания получал в прессе), так вот и я тоже, когда в 1975 году прочел верстку «Его батальона», присланную мне из Гродно, написал Быкову, не удержался от советов: вот, мол, отличное завершение цикла твоих повестей, не удивить ли всезнающего читателя вещью Быкова, но вовсе не о войне, О чем угодно: о матери, о детстве, о птичках, о собаке, но не о войне... И руке, и душе, и таланту нужен ведь отдых, «разрыўка», как говорят у Кузьмы Чорного. А потом, с новой энергией, со свежими чувствами — вернешься к войне. От этого не убудет, а прибудет Быкова!

Одним словом, советы были дельные. И... неприемлемые для Быкова.

Я-то его «Батальон» видел (мы видели) в контексте лишь его, лишь быковского творчества. В таком контексте советы были, возможно, и полезные.

Сам же Быков, то, что он делал, делает, воспринимает в контексте ином: всей службы литературной, как она исполняется во имя все того же солдата, партизана, тетки Демчихи с ее детьми. Уйти-то я уйду, а кто захочет сидеть на моем писарском месте — при том

самом «пролетариате»? На службе у которого чаще всего скорых наград не жди — «штаб», да не тот!

Кого тут усадишь вместо себя?

По секрету говоря, Василь Владимирович почти так и написал нашему общему в те времена другу: мол, советует мне Адамович, а кому дело оставить, на кого?.. И назвал несколько имен писателей, кто десятилетиями не вылезает из ставок...

Да, Быков всем все уступал, самое выигрышное — штабы, ставки, романтику, а себе оставлял самую «прозу войны». Прозу боя и смертен. Чертил и чертил прямую линию, а от нее отрывались, воспаряя, параболы. Но куда им было деться — снова и снова возвращались к линии. К тому, что, казалось бы, уже пройдено и превзойдено. А потом парабола ушла еще ниже — к живой, совсем уже непритязательной документалистике. Но это особая тема...

* * *

Вот передо мной не литература уже, а два научных труда — об этом же: что такое человек, каков он для самого себя, какова история его, т. е. откуда и куда идет, куда вышел на пороге XX века? (Ну, а про весь XX мы знаем (и узнаем еще) не по книгам.)

Книги эти: «Прогресс как эволюция жестокости» М. А. Энгельгардта (СПб, 1899) и Б. Ф. Поршнева «О начале человеческой истории» (М., 1974).

В книге крупного, талантливого советского ученого-историка Бориса Федоровича Поршнева прослеживается «путь к человеку» — через труд и «речевое взаимодействие». Причем акцент по-новому смело делается на «речевое взаимодействие».

И еще — на изначальное, «природное» миролюбие троглодитов. Тех самых, именем которых в XX веке называем самых жестоких и тупых убийц всего живого.

«Мы имеем право утверждать, что троглодитиды даже и не могли бы убивать, ибо им это запрещал жизненный инстинкт — абсолютный, не допускающий исключений. Те популяции, которые нарушали бы эту биологическую норму поведения по отношению к животной среде, вымерли бы; иными словами, «не убивать» — это был наследственный безусловный рефлекс, врожденный видовой закон, безоговорочно закрепленный естественным отбором, а не навык, от которого особь могла бы и отвыкнуть»[1].

---

[1] Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории: Проблемы палеопсихологии.— М., 1974, с. 352.
Вначале мирное растениеедение и трупоедение, без конкуренции с сильными хищниками, которые ее не потерпели бы, а затем «плавное» приручение животных, рядом с которыми наши предки «паслись»,— вот изначальная их

Смысл этих рассуждений в том, что инстинкт: «чтобы выжить — убей!» — к предкам людей не сразу подоспел. В человеке «закон» этот внедрялся постепенно. (М. А. Энгельгардт выразил ту же мысль в самом заглавии своей книги: «Прогресс как эволюция жестокости».)

Совсем он не изначальный для человека — «инстинкт агрессии», убийства. Хотя об этом писать и рассуждать любят в нашем мире, нашпигованном орудиями, которые как раз для такого занятия предназначены.

Занятию этому, по Поршневу и Энгельгардту, нет оправдания не только морального (т. е. согласно современным понятиям гуманизма), но и «исторического»,— если иметь в виду именно начало начал, природу человека.

Если Поршнев строго научно выводит и проводит эту мысль, то Энгельгардт хотя и знаком хорошо с данными естественных наук своего времени (вплоть до работ Ф. Энгельса), но пишет свой труд скорее как публицист, как бы преследуя цель устыдить людей их «цивилизованным троглодитством» — жестокостями и войнами нового времени. Что касается предка человека, то его, по убеждению Энгельгардта, «могли спасти от конечного истребления только относительная смышленность, помогавшая ему укрываться от врагов, а главное, «общественность, симпатия к себе подобным, доходившая до полного самоотвержения, полного «альтруизма»[1].

И дальше: «Война друг с другом, взаимное истребление, охота на себе подобных поставила бы вид в слишком невыгодное положение сравнительно с окружающими видами животных и привела бы к его истреблению и исчезновению. Только с того момента, когда умственное превосходство, оружие, ловушки и пр. обеспечили человеку господство над животным миром и вследствие этого вызвали усиленное размножение людей, недостаток пищи и необходимость соперничества из-за кусков,— могла начаться внутренняя война, взаимное истребление»[2].

Б. Ф. Поршнев устанавливает два этапа в истории взаимоотношений, «сосуществования» первых людей. Сначала «отлив», «дисперсия» (разбегание) человечества по материкам и архипелагам земного шара. Дело не в одних только «кусках», считает современный

история, по мнению Б. Ф. Поршнева. «Если не усматривать предвзято в доисторическом прошлом обязательно войну нашего предка со веем животным миром, то откроется широчайшее поле для реконструкции его необычайно тесной и бескровной связи с этим миром» (с. 357). «Следующий логический шаг, может быть, и ведет к представлению, что древнейшая «звуковая речь» адресовалась не от человека к человеку, а от человека (точнее — его предка) ко всевозможным иным животным. Ныне в обращении с животными мы употребляем не только эти оставшиеся от прошлого вдыхательные звуки, но и особые интонации, недопустимые по отношению к людям» (с. 359).

[1] Энгельгардт М. А. Прогресс как эволюция жестокости — СПб, 1899, с. 40.

[2] Там же, с. 44.

ученый: «им не стало «тесно» в хозяйственном, смысле, ибо их общая численность тогда была невелика.

Но им стало, несомненно, тесно в смысле трудности сосуществования с себе подобными». (Вот когда впервые встала она — проблема сосуществования!) «Эта дисперсия человечества по материкам и архипелагам земного шара, если сравнить ее с темпами расселения любого другого биологического вида, по своей стремительности может быть уподоблена взрыву»[1].

Вот как бросилась врассыпную «разбегающаяся вселенная» первоначального рода человеческого! «За эти полтора-два десятка тысячелетий кроманьонцы преодолели такие экологические перепады, такие водные и прочие препятствия, каких ни один вид животных вообще никогда не мог преодолеть»[2].

И все чтобы только подальше от себе подобных! Трудности сосуществования — вот когда они начались. Кроманьонцы — подальше от палеоантропов, которые, возможно, «биологически утилизировали их в свою пользу»[3]. Но и неоантропы — тоже врассыпную, друг от друга подальше!

Но вот процесс разбрасывания то в том, то в ином направлении, пишет Б. Ф. Поршнев, достигает такого предела, когда по природным причинам простое взаимное отталкивание оказывается далее уже невозможным. «Достигнуты ландшафтные экстремальные условия, или океан останавливает перемещение дальше вперед. Но торможение может быть и иного рода: настигают новые волны человеческой миграции, отрываться все труднее. В общем, повсюду приходит пора нового качества: взаимного наслаивания мигрирующих популяций неоантропов, откуда проистекают попытки обратного, встречного переселения»[4].

Теперь, продолжает свою мысль ученый, все чаще перемещаются не в вовсе необжитую среду, а в среду, где уже есть другие люди. Земли, растительности хватает и здесь: одно неудобство — надо привыкать к себе подобным. (Как говорил Лев Толстой — уже о своих современниках: «научиться людям жить с людьми».) Привыкать приходилось к условиям, когда «необходимо как-то пребывать среди соседей».

А это, оказывается, всегда было задачей. У каждого вида живых существ своя потребность в уединении от себе подобных: одним

---

[1] Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории, с. 377.
[2] Там же.
[3] Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории, с. 377.
[4] Там же, с. 378.

достаточно круга диаметром три метра, другим необходим километр. Первым людям хотелось жить за реками и горами — как можно дальше от «родственников».

А тут хочешь не хочешь пришлось идти на сближение.

«Иссякает отлив, начинается прилив. Люди возвращаются к людям. Или — что равнозначно — они уже не отселяются, они остаются среди людей.

Вот этот второй, обратный вал перемещений неоантропов и есть уже не просто история их взаимного избегання или избегания ими палеоантропов, но начало истории человечества»[1].

Вот здесь-то и мерцает точка в начале человеческой истории, когда жизненно необходимым стало то, что гораздо позже получило название «мораль», «нравственность», а вначале могло быть чем угодно, но все же направленным в сторону «согласия»: поступай с себе подобными таким образом, чтобы и они были к тебе миролюбивее, дружелюбнее. Раз уж жить «в тесноте», так лучше, если «не в обиде»! Инстинкт, который когда-то гнал человека по земному шару,— инстинкт уклонения от стычек с себе подобными, уклонения от конфликтных ситуаций, от взаимного истребления — не он ли помог затем и сближению, привыканию к «жизни с соседями»? Но это уже инстинкт, подчиняемый все более сознательной цели, выполняющей функцию, которую гораздо позже выполняли религия, мораль и т. п.

«Земной шар,— констатирует Б. Ф. Поршнев,— перестал быть открытым для неограниченных перемещений. Его поверхность стала уже не только физической или биогеографической картой, но картой этногеографической, а много позже и политико-географической»[2].

Вот тут-то и началось соперничество «из-за кусков», о котором пишет М. А. Энгелы ардт в книге «Прогресс как эволюция жестокости».

Отсюда начинается история, в которой столько страниц заполнено «внутренней войной» человеческого рода, взаимным истреблением. Но война эта, считает М. А. Энгельгардт, «до такой степени шла вразрез с первоначальными инстинктами (теми самыми инстинктами «уклонения» от конфликтов, стычек, «войны».— А. А.), что не могла привиться быстро. Мы знаем, как прочно держатся инстинкты и как туго они уступают рассудку. А война была актом рассудочным. Потомок миролюбивого третичного получеловека,

---

[1] Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории, с. 378—379. Далее у Б. Ф. Поршнева следуют уточнения, что первый и второй «вал» не были разделены строго во времени; все это происходило в разные времена и очень поразному.

[2] Там же, с. 379.

«человек мудрый», hm sapiens, своим умом дошел до соображения: если я убиваю мамонта и медведя, то почему бы мне не убить и своего соседа и не отнять у него его добычи, орудия, жены и прочее»[1].

Мы не спешим соглашаться с пессимистической картиной истории человеческого рода, которую рисует в своей книге М. А. Энгельгардт. Хотя XX век примеров жестокостей и массового озверения столько продемонстрировал и таких, какими не одарили Энгельгардта все века и тысячелетия, через которые он путешествует, подбирая доказательства, что жестокость в поведении и натуре людей (отдельных и сообществ) нарастала по мере прогресса[2]. Не соглашаемся не потому, что недостаточно фактов в пользу его невеселой теории, а потому, что революционный XX век дает и новые факты, открыл новые возможности и перспективы движения человеческой истории. «Предыстория человечества», когда прогресс действительно выглядел чудовищем, предпочитающим пить свой нектар из черепа убитого (по известному выражению К. Маркса),— эта предыстория все еще длится. На многих континентах. Но в права свои вступает и настоящая, достойная людей история: история не разобщения и взаимопожирания, а сближения народов. Да и этот прорыв к свету, к выходу из тысячелетних тупиков вызвал (как не раз в истории бывало) ответную, встречную реакцию самых темных сил— сегодня это фашизм, империализм, маоизм и т. п. Человечество по-прежнему живет под угрозой войн, и, может быть, самых страшных, губительных из всех, какие только бывали. То есть проблемы остаются и к ним добавилось множество новых. Важнейшей из проблем является и вот эта — ее сегодня формулируют как «ножницы между техническим прогрессом и нравственным движением, уровнем человечества». Хотя

---

[1] Энгельгардт М. А. Прогресс как эволюция жестокости, с. 44.

[2] Плодами именно цивилизации Энгельгардт считает все, что считалось «дикарством». «Дикари» же, напротив, были вполне'мирные и безобидные существа — какими еще застали европейцы бушмена или веддаха. «Первые плоды просвещения», первые завоевания разума: война, людоедство и детоубийство». Презрение к женщине — тоже результат войны: в войне не участвует, за что же уважать ее? Слабый, беззащитный — значит бесполезный. «Основные факторы прогресса, под влиянием которых воспитывалось человечество—война, рабство, деспотизм». М. А. Энгельгардт подсчитывает действительно ужасные итоги «цивилизаторской деятельности» европейцев в Америке (из 10 млн. индейцев уцелело 244 тыс.), потери Африки — 500 тыс. жизней ежегодно. А за все годы работорговли 150 млн. убитых, умерших в трюмах кораблей и т. д. А ведь в Америке, говорит Энгельгардт, не «отбросы общества» действовали, а едва ли не лучшая часть английского населения: сторонники Реформации, бежавшие от гонений господствующей церкви, и т. д. В Африке «работали» гугеноты — цвет французского населения. «Эволюция человечества была эволюцией безнравственности». И это в масштабах целых сообществ, а не только особей. «Сотня скорпионов глотает друг друга, жиреет, раздувается, растет; наконец остается один, заглотавший всех остальных, чудовищный, осовевший, отяжелевший; откуда ни возьмись врывается новая орава, разрывает его на части, затем обращается друг против друга: вот история всех народов и государств, создававших и двигавших вперед цивилизацию».
Счастье еще, считает Энгельгардт, что некоторые государства (Китай, напр.) как бы в спячке пребывают: «Было бы еще больше крови, страданий, зверства и грубости, если бы все возникавшие цивилизации развивались быстро и безостановочно...»

и она тоже не новая[1], но время, термоядерный век ее невероятно заострили, драматизировали.

Значение нравственных факторов не только не снизилось, а, наоборот, возросло в мире, расколотом классово-политическим и идеологическим противостоянием различных систем. И именно при наличии термоядерного сверхоружия. Когда им так перегружена планета и не удается пока ничего сделать, чтобы оно, как кошмарный сон, исчезло,— теперь все важно в мире. А человеческий, нравственный фактор — тем более.

Ведь с чего начал и на чем вырастал старый, «классический» фашизм, что и кто были его предтечей? (А при наличии современных средств убийства людей такая, как в 30-40-е годы, фашизация стран и народов означала бы неизбежную катастрофу в планетарном масштабе.) Так вот, предтечей фашистской идеологии (и за ней последовавшей практики) были не только откровенные реакционеры, расисты, консерваторы многих стран, но и некоторые' «псевдореволюционеры» — яростные ниспровергатели «устаревших», как многим в конце XIX и в начале XX века казалось, понятий, категорий морали. Понятий, которые были отнюдь не выдуманы, а выстраданы человечеством: доброта, человеколюбие, сострадание и пр. и пр.

Как это ни странно, но первые жертвы будущих концлагерей и крематориев — интеллигенты, «высоколобые» — сами звали-кликали в мир «детей Заратустры». Привычно полагая, что их слова — всего лишь слова, эпатирующие ненавистных буржуа, обывателей. Не ведали, что творят, не понимали, что не слова, а «режущие-колющие» предметы разбрасывают вокруг себя — по страницам книг. Потом эти острые «предметы» подберут и пустят в дело — чтобы убивать. В числе первых жертв фашизма были доброта, жалость, сострадание... И заодно — интеллигенция, от которой «фюрерам» всегда одни неприятности и беспокойство.

В старинном Краковском университете висят на стенах портреты знаменитых польских ученых, которых немецкие фашисты

---

[1] У Энгельгардта читаем: «Интеллектуальная, идейная сторона морали прогрессировала в одном направлении; эмоциональная — в другом. Совершались параллельно две эволюции: эволюция возвышенных идей и принципов, эволюция низменных чувств и инстинктов. Чем более зрело человечество, тем более возвышенные учения ему преподавались и тем страшнее искажались эти учения...

Прогрессируя умственно, человечество регрессировало нравственно. Нравственный регресс до недавнего времени был синонимом цивилизации».

Конечно, в идеях и формулировках М. А. Энгельгардта есть сознательное заострение с целью эпатажа современников, чтобы будить их совесть и тревогу. Может быть, он и сгущал краски, обзывая «сентиментальными тиграми» своих современников — европейцев и неевропейцев. Но он вполне угадывал ближайшее развитие событий — в нравственном смысле. (Именно так называли потом многих комендантов лагерей смерти, гауляйтеров и разных прочих «фюреров».) Наивными выглядят надежды Энгельгардта, что наука «исправит человека», но разве один он на это надеялся, рассчитывал?

обманом собрали со всей Польши в Краков (под предлогом совещания перед началом учебного года), а затем схватили всех (200 человек) и бросили в лагеря смерти.

«Чрезмерная образованность должна исчезнуть,— «объяснял» и угрожал Гитлер,— История вновь доказывает, что люди, которые имеют образование выше, чем этого требует их служба, являются зачинщиками революционного движения»[1].

Еще в 1925 г. один из «зодчих» итальянского варианта фашизма Фариначчн почти теми же словами выражал неудовольствие «чрезмерно эрудированной» интеллигенцией:

«Мы остерегаемся большой эрудиции и интеллектуально развитых людей. Мы уверены, что на эрудиции и интеллекте далеко не уедешь, так как побеждают идеи живые, ясные и доходящие до сердца. Поэтому естественно, что многие так называемые интеллектуалы — враги режима...»[2]

О ситуации в оккупированной Чехословакии Вацлав Краль, автор книги «Преступления против Европы», говорит:

«Оккупанты полагали, что, как только будет уничтожена интеллигенция, они сами станут «ведущим слоем» и таким образом автоматически будут решены все основные вопросы оккупации»[3].

Кроме причин и соображений чисто политических, военных, государственных на отношение фашистов к высокообразованной интеллигенции как в других странах, так и в самой Германии влияло и то, что фашистская верхушка состояла из людей крайне необразованных или (что еще хуже!) полуобразованных и при этом крайне тщеславных, ненавидящих больше всего человеческую способность критически мыслить, оценивать слова и дела — вместо того чтобы благоговеть перед невиданной премудростью и величием всех этих «дуче», «фюреров»... Комплекс неполноценности понуждал их (и понуждает) искать, на кого бы опереться, сослаться в своих претензиях на власть и мудрость. Подобно дикарям, которые украшают себя совсем для других целей предназначенными, но блестящими предметами, вещами, они вот так же украшают свою «идеологию», «философию», «этику» цитатами и афоризмами

---

[1] Цит. по кн.: Краль В. Преступления против Европы.—М., 1968, с. 268.
[2] Лопухов Б. Р. История фашистского режима в Италии.— М., 1977, с. 207.
Впрочем, подобное подозрительное и гневливое отношение к «так называемым интеллектуалам» свойственно было и старым бюрократам в прежние времена. Вот как высказывался небезызвестный Плеве: «Та часть нашей общественности, в общежитии именуемая русской интеллигенцией, имеет одну, преимущественно ей присущую особенность: она принципиально, но и притом восторженно воспринимает всякую идею, всякий факт, даже слух, направленный к дискредитированию государственной, а также духовно-православной власти; ко всему же остальному в жизни страны она индифферентна» (Любимов Л. На чужбине.—М., 1963, с. 44).
[3] Краль В. Преступления против Европы, с. 229.

ненавидимых ими интеллектуалов, интеллигентов — философов, писателей, художников и др. Они добрались до трудов и произведений Гегеля, Канта, Гёте, Вагнера, Шопенгауэра, ну и, конечно, Ницше. Фридрих Ницше, конечно, сам на то не рассчитывая, когда сочинял свои болезненные филиппики в адрес современного человека и человечества, подарил им особенно много ярких и опасных «побрякушек». Ведь действительно, звучало как подсказка, подначка, даже как наводка для напуганных революцией буржуа, деклассированных люмпенов, безработных ефрейторов, разорившихся торговцев, да и всех, кто был достаточно озлоблен или туп, жесток, чтобы поверить, что они-то и есть предтеча тех самых «сверхчеловеков», «сыновей Заратустры» и что они призваны обновить Германию, мир и даже человеческий род:

«Ибо, мои братья, лучшее должно господствовать, лучшее и хочет господствовать»[1].

«...Душа его хотела крови... он жаждал счастья ножа!»[2]

«Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека...»[3]

«Сострадание делает удушливым воздух для всех свободных душ»[4].

«Добрые — были всегда началом конца»[5].

Все это — афоризмы Заратустры.

И еще: «Земля полна лишними, жизнь испорчена чрезмерным множеством людей»[6].

«Восстание — это доблесть раба. Вашей доблестью да будет повиновение! Само приказание ваше да будет повиновением!»[7]

Вполне годилось в «памятку эсэсовцу», который, «приказывая человеку умереть» (убивая), воодушевленно выполнял чей-то еще приказ...

А сколько могли найти они «украшений» для своей примитивной программы и «морали» вселенских убийц в трактатах-«поэмах» «По ту сторону добра и зла» и «Воля к власти»!

«Не связывайте себя никаким состраданием...»[8]

---

[1] Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для кого,— СПб, 1913, с. 248.
[2] Там же, с. 40.
[3] Там же, с. 6.
[4] Там же, с. 217.
[5] Там же, с. 252.
[6] Там же, с. 47.
[7] Там же, с. 51.
[8] Ницше Ф. По ту сторону добра и зла — Собр. соч. М., 1903. Т. 2, с. 61.

«Сострадание вызывает у человека познания почти смех так же, как нежная рука смешит циклопа»[1].

«Жизнь есть результат войны, само общество — средство для войны...»[2]

Вон, оказывается, сколько один человек способен наразбрасывать вокруг себя опасных мыслей, фраз, поучений! А сколько было других «высоколобых», звавших «новых гуннов» в этот и без того жестокий мир. Из справедливой ненависти к лицемерной «традиционной» морали под сомнение начали ставить все выработанные за тысячелетия нормы и правила, как человеку жить с человеком,— нравственно раздевали людей.

Не заметили, как неразумно, как играючи слепили голубоглазую маску «белокурой бестии», «сверхчеловека», «смеющегося льва...»

А потом обнаружили ее на мордах убийц, каких мир еще не видывал!

Лев Толстой, кажется, раньше всех ощутил прямую угрозу человечеству от подобной разрушительной работы. Толстой проницательно связывал это с подготовкой к невиданной мировой бойне, которую вели «сильные мира сего».

«Если бы кто сомневался в том страшном одурении и озверении, до которого дошло в наше время христианское человечество,—говорил Лев Толстой,— то, не говоря уже о последних бурских и китайских преступлениях, защищаемых духовенством и признаваемых подвигами всеми сильными мира, один необыкновенный успех писаний Ничше может служить этому неопровержимым доказательством»[3].

И еще: «И вдруг является человек, который объявляет, что он убедился, что самоотречение, кротость, смирение, любовь — все это пороки, губящие человечество... Понятно, что такое утверждение в первое время озадачивает. Но, подумав немного и не найдя в сочинении никаких доказательств этого странного положения, всякий разумный человек должен откинуть такую книгу и подивиться на то, что нет в наше время такой глупости, которая не нашла бы издателя. Но с книгами Ничше это не так. Большинство людей, мнимо просвещенных, серьезно разбирают теорию о сверхчеловечестве, признавая автора ее великим философом, наследником Декарта, Лейбница, Канта»[4].

---

[1] Там же, с. 105.
[2] Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей.— Полн. собр. соч. М., 1910. Т. 9, с. 36.
[3] Толстой Л. Н. Поли. собр. соч., т. 35, с. 183-184.
[4] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 35, с. 184.

Слова Толстого звучали тревожно и тогда, в начале века. Но насколько тревожнее воспринимаем его предупреждения мы сегодня! Когда Толстой говорит, как бы и нашего века опыт охватывая — страшнейший «опыт» нацистских концлагерей, Хатыней, уничтожения «целых расовых единиц», а также «уроки», которые во Вьетнаме и в Кампучии человечеству преподал и еще грозит преподать маоизм,— мы думаем именно о нашем времени, наших проблемах. Да, трудно сегодня не согласиться с Толстым, с его словами о том, что если можно признать что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном, исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя было бы совершить над людьми, не считая себя виноватым.

Слишком многое, что происходило с людьми в XX веке, подтверждает, что именно так и бывает, когда не истинное человеколюбие движет поступками и идеями.

Универсальную для многих цивилизаций формулу нравственности, «золотую норму»: не делай другому то, что ты не хотел бы, чтобы сделали тебе! — Толстой ввел в «Круг чтения» и часто повторял в беседах и спорах. Формула эта, дополненная убеждением, что «нет ничего важнее чувства человеколюбия», пожалуй, и есть доминанта нравственных поисков великого Толстого.

И еще: убеждение, что люди этим, собственно говоря, и живы. Чем бы ни были озабочены люди, какую бы жизнь человек ни прожил, смысл всего, итог всего — продвинуться к истине в главном вопросе: что есть добро, а что — зло?

Это в традиции великой литературы, русской и мировой,— связывать сущность нравственности с вопросом о смысле жизни и смерти. В чем таится то, что человека понуждает делать добро, а не зло,— даже вопреки сиюминутной выгоде? Если его направляет вера в бессмертие, т. е. страх наказания и обещание награды,— тогда все просто и привычно. Ну, а если бессмертия действительно нет? — вопрошают герои Достоевского.— Если награды не будет? Тогда как — все позволено?

Этой растерянности перед последствиями атеизма в XIX веке все еще мощно противостоял просветительский рационализм русских революционеров-демократов, а также фейербаховский «культ человека». Человек добр «от природы». Убийцей, мучителем его делает среда. Рационально изменяя среду, высвободить истинного человека от ложных наслоений...

Гораздо сложнее, «диалектичнее» выглядит человек в творчестве и в представлении двух русских сверхгениев — Толстого и Достоев-

ского. Очень разные во взгляде на церковь, государство, литературу, они сходились, сближались в убеждении, что в самом человеке заключено больше, чем в среде,— источников и возможностей как добра, так и зла. Различие в их программах самоусовершенствования человека заключалось не в вере или неверии в человека, а в том, что Достоевский относил в далекое будущее «золотой век» человеческого братства, гармонию, Толстой же допускал возможность прихода «золотого века» — «когда люди сами этого захотят», через активную духовную жизнь, работу каждого человека над собой...

Достоевский сильно сомневался, что «захотят», а тем более в ближайшем будущем, и видел нужду в узде на «своеволие» — отсюда их, Достоевского и Толстого, различное отношение к властям.

Девятнадцатому веку грядущий, двадцатый, представлялся цветущей долиной дальнейшего нравственного прогресса — смягчения нравов, затухания войн. (Грозный динамит — изобретение Нобеля, мол, делает войны слишком опасными, а потому люди от них откажутся!)

Казалось, к этому все шло — после европейских жестокостей в средние и последующие века...

И вот наступил двадцатый. Толстой вблизи и раньше многих в Европе увидел лик его и ужаснулся. Вблизи — потому что Россия, как никто, испытывала на себе тупую и бессмысленную жестокость отжившей системы.

Раньше других — потому что все вокруг озарялось вспышками народного гнева, возмущения.

«Не могу молчать!» — возглас гнева и боли, обращенный к петербургским безумцам.

«Одумайтесь!» — крик боли и ужаса, адресованный уже всему человечеству. Предупреждающий голос этот сегодня звучит еще громче, тревожнее потому, что уже не динамит и беспроволочный телеграф в руках у людей, а сверхбомбы и сверхракеты. «Ножницы», которые увидел, о которых предупреждал Лев Толстой («по степени своего нравственного развития люди не имеют права на пользование опасной для жизни техникой»), сегодня способны перерезать самоё нить жизни — на всей планете!

Об этом сегодня напрямую говорит — подхватив и продолжая эхо толстовских предупреждений и призывов — наша «военная» литература.

Проблема «ножниц» — между техническим и нравственным развитием — и в «деревенской» прозе одна из сквозных.

Конечно, не в том выход, что надо техники поменьше. Ее надо намного больше и лучшей. Но и нравственный климат деревенской жизни, как показал Ф. Абрамов,— «производительная» (или, наоборот, тормозящая производство) сила. Так что обращение «деревенской» прозы к проблемам совести, нравственности — не «анахронические мотивы», как можно вычитать в иных статьях. Проблемы «совести земледельца» не день вчерашний нашей жизни и даже экономики, а самый что ни на есть сегодняшний и даже завтрашний. «Нельзя заново возделывать русское поле,— настаивает Федор Абрамов,— не возделывая души человеческие, не мобилизуя всех духовных ресурсов народа, наций»[1].

Невозможно не согласиться с Валентином Распутиным, который говорил в интервью, опубликованном «Комсомольцем Кубани»:

«Нет и не может быть сейчас для литературы ничего важнее, чем проблемы нравственности. Еще Аристотель, как известно, говорил: «Если мы идем вперед в знании, но уступаем в нравственности, мы идем назад, а не вперед». И афоризм этот звучит сегодня как нельзя более современно. Совсем недавно считалось, что писатель — это поэт эпохи, но теперь приходится признать, что нет, не только поэт, любящий и прославляющий свою родину, порой без любви и славы, но еще и мыслитель, и воспитатель, и тот не обозначенный пока другим словом пастор, заботящийся о добродетели своих прихожан, то есть читателей, любящий свою родину подлинной любовью и болеющий о ее моральном здоровье искренне и заинтересованно. И если мы станем считать вопросы нравственности второстепенными, тыловыми, нам неминуемо придется поворачивать назад, ибо тыл тогда сам по себе превратится во фронт, а что значит фронт за спиной, понятно не только военным»[2].

В белорусской литературе о сегодняшней (и вчерашней) деревне — проза М. Стрельцова, А. Кудравца, И. Шамякина, В. Полторан, М. Сипакова, А. Осипенко, В. Козько, А. Жука, В. Карамазова, М. Тычины и др.— вопросы нравственные тоже на первом плане. Правда, это как бы несколько ослабленный вариант той прозы, которую нам демонстрируют русские «деревенщики». Ослабленный в эмоциональном, в философском смысле. Нет ни остроты абрамовской, шукшинской боли, ни свойственной прозе Белова суровой правды, ни философичности Распутина.

А что есть?

---

[1] Ленинградская правда, 1976, 26 июня.
[2] Вопросы литературы, 1979, № 10, с. 110—111.

Есть правда лирических чувств, и прежде всего чувства благодарности родным хатам, «откуда мы все», есть проблемы «приживаемости» и трансформации деревенских чувств и качеств в городских условиях («сено на асфальте» — очень емкий образ, рожденный прозой М. Стрельцова). Много есть всего и разного в современной белорусской прозе, примыкающей к русской «деревенской». Нет, однако, той остроты проблем. Растворены в поэтичности, в лиризме.

Может быть, белорусская традиция «обязывает», а возможно, что в самой деревне нашей нет такой концентрации проблем, какая обнаружилась в среднерусской полосе? (Есть и такое мнение, высказывалось и такое суждение на писательском пленуме 1979 года, посвященном белорусскому роману.)

Думается, однако, что не потому все так в нашей прозе, что мы уже «проскочили» сложности, трудности, о которых пишет землякам Федор Абрамов. Причина скорее всего в том, что нет на наши деревенские проблемы своего Федора Абрамова. И, может быть, недостает «глебоуспенской» и овечкинской традиции. (Хотя черты ее обнаруживались совсем неплохо в прежних очерках Игната Дубровского.)

При всем том есть и факторы объективные, смягчающие нашу «деревенскую» прозу, оттягивающие ту боль, остроту, без которой мы не представляем прозу Абрамова или Распутина.

Память о войне — вот что перекрывает в белорусском народе (а поэтому и в литературе) любую другую боль, память, остроту. Даже более позднюю. Военная память все оттягивает на себя, а остальное приглушает, почти стирает. Герои Валентина Распутина, даже в безрадостное прошлое погружаясь, наслаждаются,— как Люся в «Последнем сроке», когда припомнила, как худенькая девочка ходила по мокрому полю за пошатывающимся от слабости конем.

Мы приводили примеры из повестей белоруса Виктора Козько (а можно то же самое найти у Быкова, у Брыля, у Адамчика), когда память не ласкает, а обжигает, как припорошенные пеплом неостывшие угли...

Но даже принимая в расчет все причины, условия, объясняющие приглушенные тона современной нашей «деревенской» прозы, невозможно не испытывать томления по глубокой народной мысли, по ярким, острым чувствам и краскам, какие есть в нашей «военной» литературе. Но и в русской «деревенской»—тоже. «Нашим бы немножко сих качеств!»[1]— повторим слова Горького, когда он завидовал

[1] Горький М. Собр. соч. В 30-ти т.—М., 1955. Т. 29, с. 138.

белорусам, народности их литературы — в самом начале XX века. Мы же сегодня русским авторам завидуем, их «деревенской» прозе[1].

А ведь у нас, в истории нашей литературы есть произведение, которое и сегодня могло бы стоять в одном ряду с «Прощанием с Матёрой» — по мысли, по пафосу, по глубине народного чувства. Я имею в виду «Комаровскую хронику» Максима Горецкого, созданную ещё в 30-е годы.

Поскольку произведение это все еще не напечатано полностью (публиковались лишь главы в журнале «Полымя»), а подробно оно рассмотрено в статье «Врата сокровищницы своей отворяю...», позволю себе процитировать несколько мест из этой моей статьи.

«В Вятке, а затем в Песочне все те собранные старые письма из деревни, записи, воспоминания, семейно-деревенские истории, легенды зазвучали особенно поэтически, лирически — для оторванного от Белоруссии Максима Горецкого. Автор к тому же спешил с этой, главной своей работой: век, жизнь не казались уже бесконечными»[2].

«Все, что происходило с семьей, «родом» Горецких — этот материал нашел для себя неожиданную форму «Поминальницы». Пишу, что слышал от старых людей, что видел сам, что писали мне в письмах, что рассказывали, когда приезжал»,— мы уже приводили эту запись о неожиданно найденной форме, «системе»... «Наш двор в Комаровке пошел от двух братьев. Другого брата звали Лукаш — это был наш прадед. Прабабку звали Хима или Авхимья. Это и все, что о них дошло до меня...»

Дальше — почти как в Библии: кто от кого пошел, кто за чем. И не пародирование это, а поэтический вызов: а почему бы и нет? почему я не могу поэтизировать крестьянские «роды», от которых все мы пошли?![3]

«Комаровская хроника» — последний поклон деревне, из которой вышел сам писатель и все, что ему близко, дорого. С которой происходит то же, что и с ним самим происходит, потому что он не может отделить (и не хочет отделять!) себя от нее... А происходит с

---

[1] В то самое время, когда писались эти слова огорчения за белорусскую прозу и затем звучали со страниц «Нового мира» (1980, № 6, 7), Виктор Козько уже работал над романом, засвидетельствовавшим, что отставание нашей «деревенской» прозы было недолгим: сама жизнь жестко понуждает и нас выходить на новые рубежи. Закономерность сегодняшнего развития многонациональной советской литературы в том, что поочередно какая-то литература, кто-то в национальной литературе (в русской, в белорусской, в киргизской и т. д.) вырывается в неразведанное, «незнаемое», открывая новые перспективы развития и для других.
В «военной» литературе многие маршруты прокладывались и прокладываются также и белорусской литературой. А «деревенская» русская проза в 60-70-е годы вела всех «деревенщиков». Но то, что написал Виктор Козько,— его роман «Колесом дорога» — свидетельствует, что и на этом направлении мы уже готовы открывать свои горизонты и пути. Тем более что у нас уже были, а точнее — есть и «Комаровская хроника» М. Горецкого и «Полесская хроника» И. Мележа.

[2] Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю...— В кн.: Здалёк і зблізку. Мн., 1976, с. 302.

[3] Там же, с. 303.

белорусской Комаровкой то же, что и с целым светом. Что и во всем мире. Сегодня нам это заметно даже больше. Да нет, куда больше! И мы прочитываем «Комаровскую хронику» новыми глазами, потому что уже вторая половина XX столетия, и тот процесс обрел еще большую стремительность и необратимость.

Сколько помнит себя человечество, существовал огромный, наиглавнейший материк. Имя ему — крестьянство. И вот за какие-то десятилетия — не во всех странах одновременно и не с одинаковым, разумеется, социальным итогом, но везде неизбежно — материк этот на глазах одного-двух поколений начинает внезапно исчезать. Сегодня это уже привычный для нас всех факт... А теперь попробуем себе вообразить самое начало того неожиданного опускания «материка». Или момент, когда человек это ощутил: долго наблюдал, присматривался и тут ощутил под собственными ногами то движение... А человек этот всем самым дорогим, родным связан с тем «материком» — самим языком материнским. Язык (белорусский.— А.А.) и тот «материк» связаны. И в этом тоже острота и сложность ситуации для М. Горецкого — белорусского писателя»[1].

Максим Горецкий, пожалуй, был первый, кто в нашей литературе «зафиксировал толчок», и писатель начал, повел систематические (дневниковые!) наблюдения за незаметным для всех началом погружения великой «крестьянской Атлантиды»... Сначала (еще в 20-е годы) лишь копился материал для какой-то «будущей книги», эпопеи, потом сам материал, сами «дневники» (записи, письма) стали складываться в такую «эпопею» — монументальное свидетельство исторических судеб белорусской деревни. И деревни вообще.

Мы знаем много произведений о жизни деревни в условиях войн, революций. А здесь история взята в такой бесконечной перспективе, что и война, даже мировая,— всего лишь эпизод в жизни... неведомой миру Комаровки. Ощущение, уверенность, что панские роды, унии, войны и все остальное — лишь эпизоды, если их поставить рядом с извечной, как сама земля, народной жизнью деревни, крестьянства... И вот это «вечное» и, казалось, незыблемое вдруг сдвинулось с мертвой точки и тоже стало уходить куда-то вперед — вместе со всеми и всем. Такой писатель-интеллигент, каким был Максим Горедкий, из народных глубин вышедший и особенно ценящий культуру — богатство, которым всегда было обделено крестьянство,— такой не мог не радоваться любым положительным сдвигам, признакам обновления жизни в родных местах. И это тоже присутст-

[1] Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю..., с. 311—312.

вует в «Комаровской хронике». Но автор «Хроники» смотрит и видит намного дальше своих современников— тем и поразительно это необычное произведение. У Максима Горецкого нет еще того знания — что же происходит с деревней, крестьянством и к чему все идет,— какое есть у нашей современной «деревенской» прозы. Еще только начиналось «размывание материка» и еле заметное погружение... Но ощущение, предчувствие было настолько сильное, что оно легко смыкается — если читать параллельно «Комаровскую хронику» и, например, «Прощание с Матёрой» — с сегодняшним знанием. «Хроника» предугадала даже некоторые эстетические решения нашей прозы конца 50-70-х годов. Книга о судьбе «Комаровки» у белорусского писателя кончается почти в той же манере, как будут через десятилетия написаны повести Владимира Солоухина «Владимирские проселки» и Елизара Мальцева «Войди в каждый дом». Летописец Комаровки в свой последний приезд в 1937 году, как бы поклон последний отдавая, записывает все, что есть, что осталось, что приключилось с каждым из домов Комаровки, с каждой семьей — действительно, «в каждый дом входит».

Он даже нумерует дома.

«№ 1. Роман Козел умер в 1935 г. Было две хаты, одну продали, уже свезли. В другой хате живет Романиха, невестка его...» «№ 21. Иван Трахименок живет со своей Кулиной. Вчера в лесу лозицы малость надрал, за пояс засунул. Сенцо где-то там подворачивал, накосил на болоте в Комаровщине. Позавчера раньше всех в Телепеничи на «одиннадцатуху» с киечком пошел. Как что, так сразу: «Я этого не знаю, как я неграмотный человек, темный». А как без попа хоронят, так ума хватает сказать: «Как поросенка похоронили». Косить председатель посылает — «Ноги слабые». «...№ 31 Максим Солдатенок. Председатель колхоза. Сын Коля в Москве, в НКВД. Там же зять. Зять привез пилы, а тут злые люди написали заявление, что спекуляция Дочка учительницей в Орше».

И так весь «парад» крестьянских дворов, домов — всех 35.

Читаешь сейчас великолепную «Матёру» русского писателя, а нить протянута — незримая, если не знаешь о существовании такой вот «Комаровской хроники» связывающая день вчерашний и день сегодняшний нашей всесоюзной литературы. Показалось некоторым критикам, когда только заявила о себе русская «деревенская» проза, что не советская это традиция, а какая-то архаично-давнишняя. А ведь и советская тоже мы богаче, чем о себе думали. Не все знаем, помним (было время — даже не знали, что мы богатые наследники Булгакова, имеем «Мастера и Маргариту»!).

Конечно, у Валентина Распутина свои национальные корни — и какие еще мощные! — свои истоки. Но читатель у него — всесоюзный, и контекст у его произведении — тоже всесоюзный. И тут у белоруса возникает свои аналог, у украинца или латыша — свой. А от этого еще ближе, роднее становится далекая сибирская Матера — красота ее и судьба ее. И главное — люди ее.

Да, потому что ими не одна Матёра стояла и стоит — такими.

Они не «пережиток», не «обуза» для дня сегодняшнего, как кажется Воронцову и другим «пожегщикам». Такие люди, как Дарья в «Прощании с Матёрой», как старуха Анна в «Последнем сроке»,— закваска, дрожжи и для будущей жизни. Нельзя беспамятством обрывать единую нить: ничего хорошего из этого никогда не получалось.

* * *

Через них, через Дарью, Анну, выходит Распутин, проза его выходит к главному вопросу, к вопросу вопросов: зачем все? зачем мы и наши дела? наши страдания и радости? рождения и смерти? в чем смысл всего?..

Выходит к этому не один Валентин Распутин, но вся наша современная литература. Потому что большая, настоящая литература к этому неизбежно и всегда выходила. Не налегке, не с уверенностью, что навсегда сможет разрешить проклятые вопросы, ответить на них.

Если бы можно было, давно бы окончательно ответила и разрешила. Когда у нее были Данте, Шекспир, Гёте, Толстой, Достоевский...

Так уж человек устроен, что лишь собственными усилиями обретенный, мукой собственного ума, совести открываемый смысл всего нужен ему по-настоящему. Чужой тоже бывает интересен и нужен: подтолкнет, направит работу твоей души, но душа-то сама трудиться обязана... Это верно по отношению к отдельной личности. Но и по отношению к самому времени.

Наше время заострило в каждом из людей, способном «задавать вопросы», ощущение, сознание, что все мы «подключены» к судьбе человечества, самой планеты. К судьбе рода человеческого напрямую подключены. Повязаны!

В прежние времена благополучие человека и его рода зависело от вещей и событий, так сказать, местных— от хозяйства, здоровья, начальства и т. п. Далекая Америка или Япония и т. п. к его судьбе прямого отношения не имели. Лишь большие умы, исключительно активные души склонны были близкое сопрягать с далеким, все со

всем. Но тоже в отвлеченно-религиозном или отвлеченно-нравственном смысле.

А здесь, сегодня почти каждый нормальный человек совершенно практически ощущает, видит: смысл или бессмыслица его дел, планов, надежд напрямую зависит от того, что творится на всей планете, со всеми людьми; все зависит от того, жить или не жить роду человеческому, совладает или не совладает нынешнее и завтрашнее человечество со всеми опасностями термоядерного века. Заострялись все вопросы в одном и главном направлении — быть или не быть человеку на планете Земля? В прямом, физическом, смысле и значении слова.

Заострять проклятые вопросы жизнь всегда умела — но чтобы так! И литература заостряла их, угадывая (тот же Достоевский) многие нашего времени проблемы. Но одно дело предчувствия гениев и совсем другое — когда это стало повседневной реальностью, реальной судьбой для миллионов людей. Какое же тут необходимо заострение! Со школьных лет помним уютный шар-глобус, в который для Пьера Безухова (в плену после пожара Москвы, после встречи с Платоном Каратаевым) «округлились», слились все вопросы о смысле жизни и смерти.

«И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткии старичок-учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», — сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться захватить наибольшее пространство, но другие стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

— Вот жизнь,— сказал старичок-учитель»[1]

Этот, такой уютный, плавный, зазывающий к себе вовнутрь «шар», ласково безразличный, как голос Платона Каратаева, снова припомнился, когда читал «Прощание с Матёрой»,— о воображаемом «клине» «треугольнике», на острие которого так неуютно и тревожно тетке Дарье. Ей так неспокойно и страшно от сознания что ей, именно ей ответ держать «за весь род».

«Она прикрыла глаза, чтоб не видеть ни дыма ни разоренных могил, и, покачиваясь усыпляющими движениями вперед-назад, как

---

[1] Толстой Л. Н. Война и мир,—М., 1968. Т. 3, 4, с. 527—528.

бы отлетая от одного состояния и правя к другому, набираясь облегчающей небыти тихонько объявилась:

— Это я, тятька. Я это, мамка... Вот пришла. Совсем ослобонилась, корову и ту седни увезли. Можно помирать. А помирать, тятька, придется мне мимо Матёры... Не сердитесь на меня, я не виноватая. Я-то виноватая, виноватая, я уж потому виноватая, что это я на меня пало... Это на моем, не на чьем веку отрубит наш род и унесет... Ды-ы-ымно, дымно у нас. Продыху нету от дыму...

Ей представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свои род, соберется на суд много-много людей — там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды — все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца,— все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. И на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего... Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего...»[1]

Вот так сегодня — не спрятаться в уютном «шаре»! Каждого, в ком есть, как в тетке Дарье, душа, совесть, каждого общая земная забота и тревога выталкивают на «острие» и спрашивают, спрашивают — за все и за всех. Хотя, казалось бы, что он может — один человек в этом мире «сверхтехники», почему сам берет на себя ответственность за все?

Но таков человек! И в этом надежда. Та надежда которой ищут в Дарье, требуют от Дарьи — не ради себя, а ради внуков и правнуков — ее отец и мать, ее прадеды, уже «ставшие землей».

Смысл в жизни есть (и даже в смерти), если есть надежда. Если будущее есть. Но человек, человечество, пока живы, верят и не могут не верить, обязаны верить в жизнь, в будущее. Верить —значит не сдаваться.

Почти так же, как когда-то пронесся по небосклону русской литературы горьковский Буревестник, клича за собой тех, кто не потерял веры в человека, в будущее, вот так сегодня на сером от рутинного пессимизма небе западной литературы несется, радостно и уверенно «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»[2].

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 155—157.
[2] У нас повесть Ричарда Баха публиковалась в «Иностранной литературе», 1974, № 12.

К повести-притче Ричарда Баха есть эпиграф, и обращен он ко всем: «Невыдуманному Джонатану-Чайке который живет в каждом из нас».

Так что же живет в каждом из нас? Чем живы люди? Этим вопросом литература задавалась всегда. То погружаясь в прошлое. То окунаясь в настоящее То взмывая в будущее — чувством, фантазией. И болью и надеждой, мечтой.

Читал мудрого, неунывающего американца Ричарда Баха и помнил об авторе «Буревестника». И еще о русском ученом и философе Константине Эдуардовиче Циолковском, о его мечте-знании, устремленном в космическое бессмертие человечества...[1]

Да, цела, не прерывается и в «апокалиптическом» XX веке живая цепь, связывающая людей-оптимистов. Не ею ли удерживается на орбите надежды наша старая планета?

«Легенда о Джонатане-Чайке, «который живет в каждом из нас», окружена легендами же,— пишет в послесловии к публикации повести Р. Баха на русском языке М. Туровская.— Уже не раз — почтительно, бесстрастно или глумливо — пересказана на страницах периодических изданий история о том, как молодой человек романтического склада — потомок Иоганна Себастьяна Баха, летчик, одержимый своей профессией, но не слишком преуспевший в карьере, автор романов, не имевших успеха, и статей в специальных журналах — этакий американский вариант Сент-Экзюпери,— как он, прогуливаясь однажды по туманному берегу канала Белмонт Шор в

---

[1] Константин Эдуардович развил далее свою мысль об исчезновении твердой, жидкой и газообразной материи и о ее преобразовании в лучистый вид энергии, что не ново и диктуется эйнштейновской формулой эквивалентности энергии и массы. «Неужели вы думаете, что я так недалек, что не допускаю эволюцию человечества и оставляю его в таком внешнем виде, в каком человек пребывает теперь: с двумя руками, двумя ногами и т. д. Нет, это было бы глупо. Эволюция есть движение вперед. Человечество как единый объект эволюции тоже изменяется и, наконец, через миллиарды лет превращается в единый вид лучистой энергии, то есть единая идея заполняет все космическое пространство. О том, чем будет дальше наша мысль, мы не знаем. Это — предел ее проникновения в грядущее, возможно, что это — предел мучительной жизни вообще. Возможно, что это — вечное блаженство и жизнь бесконечная, о которых еще писали древние мудрецы...»

Так записал и передает свою беседу с К. Э. Циолковским другой наш крупный ученый — А. Л. Чижевский (Химия и жизнь, 1977, № 1, с. 28).

Космическое бытие человечества К. Э. Циолковский подразделял иа четыре основные эры космической жизни человечества: эра рождения (как раз наша, начавшаяся с первых спутников), эра становления, эра расцвета человечества. (Расцвет: «Теперь трудно предсказать ее длительность — тоже, очевидно, сотни миллиардов лет».)

И четвертая эра — терминальная. Тоже десятки миллиардов лет.

«Во время этой эры человечество полностью ответит на вопрос: зачем?—и сочтет за благо включить в действие второй закон термодинамики в атоме, то есть из корпускулярного вещества превратится в лучевое... Пройдут миллиарды лет, и опять из лучей возникнет материя высшего класса и появится, наконец, сверхновый человек, который будет разумом настолько выше нас, насколько мы выше одноклеточного организма. Он уже не будет спрашивать: почему, зачем? Он это будет знать и, исходя из своего знания, будет строить себе мир по тому образцу, который сочтет более совершенным...

Такова схема, пока голая схема, но периодические пути рождения и смерти человека ясны уже и теперь. Ясно уже теперь, что вопрос: зачем и почему? — будет решен разумом, то есть самой материей, через бесконечные миллиарды лет...» (с. 29—30).

штате Калифорния, услышал Голос, который произнес загадочные слова: «Чайка Джонатан Ливингстон». Повинуясь Голосу, он сел за письменный стол и запечатлел видение, которое прошло перед его мысленным взором наподобие кинофильма.

Но история удивительной чайки оборвалась так же внезапно, как и началась. Сколько ни старался Бах досочинить ее своими силами, ничего не получалось, пока лет восемь спустя в один прекрасный день ему таким же образом не привиделось продолжение»[1].

То, что из этого сделали в «обществе потребления» рекламу-легенду, совсем не означает, что. сам художник расчетливо придумал столь романтическую историю рождения его философской сказки. Было!.. А что было — тайна не мистическая, а творческая. Слишком тонкая эта вещь — психология творчества, рождения неожиданного шедевра (или хотя бы «мини-шедевра»), чтобы обязательно стараться рационалистически объяснять «видение» и «Голос», открывшие потомку великого музыканта, а через него — и уставшему от пессимизма человеку Запада «Чайку», надежду.

Но она и нам нужна, она и в нас, действительно в каждом — «Чайка», Надежда. Художник заговорил и е поверх проблем, которые людей разделяют и объединяют в этом безумно тревожном мире. Хотя он, как и Циолковский, мыслит категориями, близкими к бесконечности во времени и в пространстве.

«И времени больше не будет» — звучало угрожающе-апокалиптически в старых книгах. И у Достоевского. Теория относительности эту непонятную и тем жутковатую фразу перевела на язык формул, скоростей, и все стало выглядеть «просто»: время исчезает (или на грани того) при скорости, близкой (или равной) скорости света, т. е. 300 тыс. км/сек.

Вот так, скоростью света наука рассеяла, прояснила темное, пугающее, что несло в себе человеческое «воспоминание о будущем»...

Ею же, скоростью, космической скоростью переносит К. Э. Циолковский человека из привычных измерений и забот в будущее, где «все разрешится» через эволюцию самой материи.

Ею же, скоростью, заряжен оптимизм и повести-притчи Ричарда Баха.

Вот настоящий пример того, как литература (через практику писателя-пилота) пошла на сближение с наукой. Но осталась литературой. Только очень необычной, непривычной литературой.

---

[1] Туровская М. Три жизни «Чайки по имени Джонатан Ливингстон».— Иностранная литература, 1974, № 12, с. 195.

«Большинство чаек не стремились узнать о полете ничего, кроме самого необходимого: как долететь от берега до пищи и вернуться назад. Для большинства чаек главное — еда, а не полет. Для этой же чайки главное было не в еде, а в полете...»

Сначала — это «тренировочные полеты», в пределах, так сказать, птичьего спорта (хотя и в нарушение традиций Стаи).

«Поднявшись на тысячу футов над морем, он бросился в крутое пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через шесть секунд он уже летел со скоростью семьдесят миль в час, со скоростью, при которой крыло в момент взмаха теряет устойчивость...

Несмотря на все старания, взмах вверх не удавался. Он сделал десяток попыток, и десять раз, как только скорость превышала семьдесят миль в час, он обращался в неуправляемый комок взъерошенных перьев и камнем летел в воду».

Падения, падения! — не только опасные удары «о твердую, как камень, воду. Но и веры падения, духа. Родись я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у сокола, и я питался бы мышами, а не рыбой. Мой отец прав. Я должен забыть об этом безумии. Я должен вернуться домой, к своей Стае, и довольствоваться тем, что я такой, какой есть,— жалкая, слабая чайка».

Но Джонатан уже заболел жаждой преодолевать все запреты и пределы, которые не только Стая, но и, казалось бы, сама природа поставила, ставит перед Чайкой.

«Он почувствовал облегчение, что принял решение жить, как живет Стая.

Распались цепи, которыми он приковал себя к колеснице познания: не будет борьбы, не будет и поражений. Как приятно перестать думать и лететь в темноте к береговым огням.

— Темнота,— раздался вдруг тревожный голос.— Чайки никогда не летают в темноте.

Но Джонатану не хотелось слушать. «Как приятно — думал он,— Луна и отблески света, которые играют на воде и прокладывают в ночи дорожки сигнальных огней, и кругом все так мирно и спокойно...»

«...Он поднялся на две тысячи футов над черной массой воды и, не задумываясь ни на мгновение о неудаче, О смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставив ветру только узкие, как кинжалы, концы — перо к перу — и вошел в отвесное пике.

Ветер оглушительно ревел у него над головой. Семьдесят миль в час, девяносто, сто двадцать, еще быстрее! Сейчас, при скорости сто

сорок миль в час, он не чувствовал такого напряжения, как раньше при семидесяти; едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно, чтобы выйти из пике, и он пронесся над волнами, как пушечное ядро, серое при свете луны».

И неизбежный конфликт со Стаей.

«Когда он приземлился, все чайки были в сборе, потому что начинался Совет; видимо, они собрались уже довольно давно...

— Джонатан Ливингстон! Выйди на середину!

Слова Старейшего звучали торжественно. Приглашение выйти на середину означало или величайший позор, или величайшую честь. Круг Чести — это дань признательности, которую чайки платили своим великим вождям. «Ну, конечно,— подумал он,— утро, Стая за завтраком, они видели Прорыв! Но мне не нужны почести. Я не хочу быть вождем. Я хочу только поделиться тем, что я узнал, показать им, какие дали открываются перед нами». Он сделал шаг вперед.

— Джонатан Ливингстон,— сказал Старейший,— выйди на середину, ты покрыл себя Позором перед лицом твоих соплеменников.

Его будто ударили доской! Колени ослабели, перья обвисли, в ушах зашумело. Круг Позора? Не может быть! Прорыв! Они не поняли! Они ошиблись, они ошиблись!

— ...своим легкомыслием и безответственностью,— текла торжественная речь,— тем, что попрал достоинство и обычаи Семьи Чаек...»

Круг Позора означает изгнание из Стаи, его приговорят жить в одиночестве на Дальних Скалах.

«— Настанет день, Джонатан Ливингстон, когда ты поймешь, что безответственность не может тебя прокормить. Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо он непостижим, нам известно только одно: мы брошены в этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватает сил.

Чайки никогда не возражают Совету Стаи, но голос Джонатана нарушил тишину.

— Безответственность? Собратья! — воскликнул он.— Кто более ответствен, чем чайка, которая открывает, в чем значение, в чем высший смысл жизни, и никогда не забывает об этом? Тысячу лет мы рыщем в поисках рыбьих голов, но сейчас понятно, наконец, зачем мы живем: чтобы познавать, открывать новое, быть свободными! Дайте мне возможность, позвольте мне показать вам, чему я научился...

Стая будто окаменела.

— Ты нам больше не Брат,— хором нараспев проговорили чайки, величественно все разом закрыли уши и повернулись к нему спинами».

Великолепный Прорыв дерзкой Чайки за черту привычной скорости, привычного мышления — в общем довольно-таки банальная притча о конфликте «творческой личности» с «косной Стаей». Лишь через восемь лет (если верить «легенде») совершил свой настоящий прорыв сам автор. И тогда художественная тема обрела иные глубины, измерения.

Это был прорыв литературы туда, где уже побывали взгляд и мысль Эйнштейна и Циолковского — научная мысль, научное знание и предвидение. Но Ричард Бах и его «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» — это не научно-фантастическая литература, которая пользуется в основном теми же, что и наука, средствами технического прогресса для путешествия в будущее. У Ричарда Баха совершенно другой вид энергии — для прорыва в будущее. Нравственная работа, воля к самоусовершенствованию, движимая любовью,— вот энергия, выносящая Чайку (и мысль самого автора) в совершенно новые «пределы». Которые не за миллиардами световых лет, а здесь, рядом с привычным бытием.

Изгнанная, приговоренная к одиночеству на Дальних Скалах мятежная Чайка мучима была не одиночеством, а тем, что чайки не захотели поверить в радость полета, не захотели открыть глаза. И увидеть!

Но открыть глаза и увидеть — познать что-то гораздо более важное, чем земные сверхскорости,— предстояло и ему самому, Джонатану Ливингстону.

Когда однажды Джонатан спокойно и одиноко парил в небе, прилетели они. «Две белые чайки, которые появились около его крыльев, сияли, как звезды, и освещали ночной мрак мягким ласкающим светом». Джонатан Ливингстон, оставаясь верным своему характеру, тут же подверг их испытанию. Он сложил крылья, качнулся из стороны в сторону и бросился в пике со скоростью сто девяносто миль в час. «Они понеслись вместе с ним, безупречно сохраняя строй». Он на той же скорости перешел в длинную вертикальную замедленную «бочку».

«Они улыбнулись и сделали бочку одновременно с ним».

Естественно, что Джонатан спросил: «Кто вы?»

«— Мы из твоей стаи, Джонатан, мы твои братья... Мы прилетели, чтобы позвать тебя выше, чтобы позвать тебя домой».

Они из его Стаи, но не из той, в которую он прежде входил и из которой был изгнан, а из той, которую именуют Единомышленниками. Туда и эскортировали Джонатана две лучезарные чайки.

Вначале ему показалось, что это небеса. «Так это и есть небеса», — подумал он и не мог не улыбнуться про себя. Наверное, это не очень почтительно — размышлять, что такое небеса, едва ты там появился».

Достигнув двухсот семидесяти трех миль, он понял, что быстрее лететь не в силах, и испытал некоторое разочарование. «На небесах,— думал он,— не должно быть никаких пределов».

И вот он среди таких же, как сам, среди чаек, «каждая из которых считала делом своей жизни постигать тайны полета, стремиться к совершенству полета». Казалось, он уже забыл о мире других птиц — примитивных по своим желаниям, целям. И несчастных, если смотреть отсюда. Где-то там жила Стая, которая не знала радостей полета и пользовалась крыльями только для добывания пищи и для борьбы за пищу...

Но однажды вспомнил...

«— А где остальные? — спросил у птицы по имени Салливан. Спросил беззвучно, потому что вполне освоился с несложными приемами телепатии здешних чаек, которые никогда не кричали и не бранились.

— Почему нас здесь так мало? Знаешь, там, откуда я прилетел, жили... тысячи тысяч чаек,— Я знаю,— Салливан кивнул,— Мне, Джонатан, приходит в голову только один ответ. Такие птицы, как ты,— редчайшее исключение. Большинство из нас движется вперед так медленно. Мы переходим из одного мира в другой, почти такой же, и тут же забываем, откуда мы пришли; нам все равно, куда нас ведут, нам важно только то, что происходит сию минуту. Ты представляешь, сколько жизней мы должны прожить, прежде чем у нас появится первая смутная догадка, что жизнь не исчерпывается едой, борьбой и властью в Стае. Тысячи жизней, Джон, десять тысяч! А потом еще сто жизней, прежде чем мы начинаем понимать, что существует нечто, называемое совершенством, и еще сто, пока мы убеждаемся: смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим. Тот же закон, разумеется, действует и здесь: мы выбираем следующий мир в согласии с тем, чему мы научились в этом. Если мы не научились ничему, следующий мир окажется таким же, как этот, и нам придется снова преодолевать те же преграды с теми же свинцовыми гирями на лапах.

Он расправил крылья и повернулся лицом к ветру.

— Но ты, Джон, сумел узнать так много и с такой быстротой,— продолжал он,— что тебе не пришлось прожить тысячу жизней, чтобы оказаться здесь.

Однажды, когда на «небесах» наступил вечер, Джонатан осмелился и заговорил со Старейшим — чайкой по имени Чианг, который, как говорили, собирался вскоре расстаться «с этим миром». То есть взлететь еще выше...

— Чианг, этот мир... это вовсе не небеса?

При свете луны было видно, что Старейший улыбнулся.

— Джонатан, ты снова учишься,— сказал он.

— Да. А что ждет нас впереди? Куда мы идем? Разве нет такого места — небеса?

— Нет, Джонатан, такого места нет. Небеса — это не место и не время. Небеса—это достижение совершенства... Ты приблизишься к небесам, Джонатан, когда приблизишься к совершенной скорости. Это не значит, что ты должен пролететь тысячу миль в час, или миллион, или научиться летать со скоростью света. Потому что любая цифра —это предел, а совершенство не знает предела. Достигнуть современной скорости, сын мой,— это значит оказаться там».

И старый Чианг продемонстрировал, что для него уже не существует пространства,— как бы сыронизировав над тем, что всерьез, натужно всерьез демонстрирует современная фантастика.

«Не прибавив ни слова, Чианг исчез и тут же появился у кромки воды, в пятидесяти футах от прежнего места. Потом он снова исчез и через тысячную долю секунды уже стоял рядом с Джонатаном.

— Это просто шутка,— сказал он».

Тонкая дымка иронии окутывает притчу Ричарда Баха.

Но главная ее мысль высказана всерьез, хотя это и парадоксальная мысль:

«— Чтобы летать с быстротой мысли или, говоря иначе, летать, куда хочешь... нужно прежде всего понять, что ты уже прилетел...

Суть дела, по словам Чианга, заключалась в том, что Джонатан должен отказаться от представления, будто он узник своего тела с размахом крыльев в сорок два дюйма и ограниченным набором заранее запрограммированных возможностей. Суть в том, чтобы понять: его истинное «я», совершенное, как ненаписанное число, живет одновременно в любой точке пространства в любой момент времени».

Мы приводили мысли принципиального материалиста К. Э. Циолковского о возможности такого результата эволюции живой материи (через миллиарды и миллиарды лет), когда человек как бы «разольется» по всему Космосу, т. е. он будет и здесь, и везде в каждый данный момент.

Художественная литература не собирается ждать так долго — миллиарды лет. Вот и Ричард Бах современного человека хочет

подвинуть на такое самораскрытие возможностей, заложенных не только в плоти, но и в духе его — в нравственной силе человека и человечества, которые способны не то что поровняться, но и опередить любой технический прогресс. А уж тем более — эволюцию самой материи...

Вот здесь и нащупывается если не сама идея, то первотолчок, из которого рождается энергия, поэзия мысли повести-притчи Ричарда Ба ха. Мне представляется, что и в иронии, заключенной в самой стилистике повести («Я чайка, я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина» и т. п.), и в мыслях, напрямую излагаемых, звучит спор-несогласие с «ножницами» современной жизни, когда нравственность должна хотя бы поспевать за техническим прогрессом. Хотя бы тянуться-дотягиваться...

Нет, утверждает своей философской повестью современный Экзюпери — пилот и поэт, любые возможности и чудеса техники, технического прогресса и даже научно-технической фантазии ничтожны перед заложенным в человеке стремлением к нравственному совершенству, духовному полету! Главное — осознать это стремление, живущее в каждом, не позволить, чтобы рутина, корысть, трусость и пр. и пр. заглушили его. Бесстрашие в учебе быть человеком до конца — вот главное!

«— Если хочешь, мы приступим к работе над временем,— говорит мудрый Чианг после того, как они слетали на планету, где не одно, а два солнца (вспоминается, совсем некстати, но вспоминается Дарьино из повести Распутина: «Одного солнца покажется мало...» — А. А.), если хочешь, мы можем работать над временем, и ты научишься летать в прошлое и будущее».

«Чем так прельщают научные фантасты!» — почти так это звучит у мудрой Чайки. Но это не самое главное и даже не самое трудное. Главное Чианг оставляет под конец: «Тогда ты будешь подготовлен к тому, чтобы приступить к самому трудному, самому дерзновенному, самому интересному. Ты будешь подготовлен к тому, чтобы летать ввысь, и поймешь, что такое доброта и любовь».

А потом настал день, когда Чианг исчез. Он спокойно беседовал с чайками и убеждал их постоянно учиться, и тренироваться, и стремиться как можно глубже понять всеобъемлющую невидимую основу вечной жизни. Он говорил, «а его перья становились все ярче и ярче и, наконец, засияли так ослепительно, что ни одна чайка не могла смотреть на него.

— Джонатан,— сказал он, и это были его последние слова,— постарайся постигнуть, что такое любовь.

Когда к чайкам вернулось зрение, Чианга с ними уже не было».

Вот когда начался главный подвиг, самый трудный полет Чайки по имени Джонатан Ливингстон.

Дни шли за днями, и Джонатан заметил, что он все чаще думает о Земле, которую покинул. Он стоял на песке и думал: что если там, на Земле, есть чайка, которая пытается вырваться из оков своего естества... И чем больше он «трудился над познанием природы доброты, тем сильнее ему хотелось вернуться на Землю».

Ибо чем выше летает чайка, тем дальше она видит. А он, взлетев выше других, увидел, где ему, с кем ему быть и что делать...

И он устремился назад — «на берега другого времени».

И вот тут-то ощутил, как никогда прежде: «нет, он не перья да кости, он — совершенное воплощение идеи свободы и полета, его возможности безграничны».

А дальше было все, что бывает, когда идея, высокая идея добра и любви «спускается на землю».

Сначала он учит таких же изгнанников, каким сам был когда-то, тех, кого Стая обрекла на одиночество. Шестеро их сначала было, «увлеченных новой странной идеей: летать ради радости полета».

«Но ни один из них — даже Флетчер Линд — не мог себе представить, что полет идей — такая же реальность, как ветер, как полет птицы.

— Все ваше тело от кончика одного крыла до кончика другого,— снова и снова повторял Джонатан,— это не что иное, как ваша мысль, выраженная в форме, доступной вашему зрению. Разбейте цепи, сковывающие вашу мысль, и вы разобьете цепи, сковывающие ваше тело...»

Потом он увлек шестерых, вопреки всем запретам Стаи, лететь к ней, к Стае. Джонатан помнил завет Чианга — завет любви... И как можно было ожидать — даже преодолев сопротивление тех, кому выгодно было держать чаек подальше от «смутьянов» и «мечтателей»,— Джонатан не очень приблизился к цели. Недавние гонители Джонатана, покоренные необыкновенным зрелищем свободных, необыкновенных полетов шестерых изгнанниц, привычно объявили Джонатана... Сыном Великой Чайки, «богом». И снова остались теми, кем были, там, где были,— внизу.

«— В Стае говорят, что ты Сын Великой Чайки,— сказал Флетчер однажды утром, разговаривая с Джонатаном после Тренировочных

Полетов на Высоких Скоростях,— а если нет, значит, ты опередил свое время на тысячу лет.

Джонатан вздохнул: «Цена непонимания,— подумал он.— Тебя называют дьяволом или богом».

И еще: «Почему труднее всего на свете заставить птицу поверить в то, что она свободна,— недоумевал Джонатан,— ведь каждая птица может убедиться в этом сама, если только захочет чуть-чуть потренироваться. Почему это так трудно?»

Это после того, как Стая, увидев, что даже смерть отступает перед пришельцами «из другого времени», бросились на Джонатана — все четыре тысячи с криком: «Дьявол!»

«К утру Стая забыла о своем безумии, но Флетчер не забыл:

— Джонатан, помнишь, как-то давным-давно ты говорил, что любви к Стае должно хватить на то, чтобы вернуться к своим сородичам и помочь им учиться?

— Конечно.

— Я не понимаю, как ты можешь любить обезумевшую стаю птиц, которая только что пыталась убить тебя.

— Ох, Флетчер! Ты не должен любить обезумевшую стаю птиц! Ты вовсе не должен воздавать любовью за ненависть и злобу. Ты должен тренироваться и видеть истинно добрую чайку в каждой из этих птиц и помочь им увидеть ту же чайку в них самих. Вот что я называю «любовью».

Уходя, улетая от чаек, которым он больше не нужен как учитель — а «богом» быть не желает!— Джонатан говорит «вспыльчивой молодой птице по имени Флетчер Линд»:

«— Я тебе больше не нужен. Продолжай поиски самого себя — вот что тебе нужно, старайся каждый день хоть на шаг приблизиться к подлинному всемогущему Флетчеру. Он — твой наставник. Тебе нужно научиться понимать его и делать, что он тебе велит». --

И еще:

«— Не позволяй им болтать про меня всякий вздор, не позволяй им делать из меня бога, хорошо, Флетчер? Я — чайка...»

И пришедший Джонатану на смену Флетчер Линд вдруг действительно понял, что в Джонатане было столько же необыкновенного, сколько в нем самом.

«Предела нет, Джонатан? — подумал он.— Ну что же, тогда недалек час, когда я вынырну из поднебесья на твоем берегу и покажу тебе кое-какие новые приемы полета!»

И он понял, что любит тех, кого оставил ему Джонатан, чтобы он вел их.

«И ринулся в погоню за знаниями»...

* * *

Так в чем же если не «смысл всего», так хотя бы смысл человеческого существования? Не в вопросе ли заключен и ответ? Не в том ли смысл появления человека на земле и во Вселенной, чтобы кто-то спрашивал. Себя и целый мир: зачем мы и все зачем? Если верно, что человек—осознавшая себя материя, свое существование осознавшая, себя увидевшая со стороны материя, так кому же кроме как человеку спрашивать: зачем? зачем? зачем?..

С камня не спросится, что он камень, с чайки не спросится, что она чайка (если это не Чайка Ричарда Баха — «всего лишь» человек!)... С человека спросится.

Червь, написал один из героев Даниила Гранина, для того, чтобы «делать землю».

Человек, скажем мы,— чтобы спрашивать. И за червя, и за самоё землю спрашивать: зачем все? Зачем земля и зачем червь, «делающий землю»? И самое главное «зачем» — зачем я, человек?

«Простое размышление о смысле жизни,— говорил Альберт Швейцер,—уже само по себе имеет ценность»[1]. Человек смотрит в небо, на звезды — это ему необходимо потому, что он — человек. Он смотрит как человек, а не как вершина горы, дерево, кошка. Смотрит, спрашивая и за себя, и за гору, и за кошку: что и зачем?

И старуха Анна, и Дарья в повестях В. Распутина спрашивают: зачем я жила? Сегодня литература наша (и «военная», и «деревенская», и «городская»), та, которая действительно заслуживает называться литературой, неутомимо спрашивает, ставит вечные вопросы: зачем? зачем? И не потому, что мода на «философию», а потому, что и писателям и самой литературе близок человек, не соглашающийся на бессмысленное, лишенное духовной цели существование.

А что же сегодня главное, какие вопросы, цели самые актуальные? Не вечные ли и есть самые актуальные? Да, те самые, о которых слишком часто думалось, и многими: обождут, на то они и «вечные»! На то они и«проклятые»!

Вопросы жизни и смерти? — подумаешь, нам бы ваши заботы!

Теперь это наша забота, именно наша — о жизни и смерти самой планеты и человечества, человека на ней. И есть ли что другое, что важнее и актуальнее таких вот «вечных» вопросов?

---

[1] Цит. по кн.: Носик Б. Швейцер, с, 197.

Настоящее, то, что в данный момент, всегда охотно, легко приносилось в жертву чему-то: иногда — прошлому В жертву, а иногда — будущему. Ведь данный миг, настоящее время — всего лишь мостик, для того вроде бы и существующий, чтобы «консерваторам» уходить в уютное, милое для них прошлое, а «революционерам» — рваться и увлекать за собой в будущее.

И люди, что живут сегодня,—они обязательно «ху-' же вчерашних». И уж наверняка далеко им до тех, которые завтра придут!

Но никогда не было так очевидно, что на них, на теперешних людях вее сошлось. Какие они ни есть, но от них зависит, сохранится ли «память». От них зависит — осуществятся ли мечты о будущем всех веков, «проекты» всех гениев, надежды всех народов. От теперешних! В их руках все, и это для человека страшное бремя — знать, что на нем все может кончиться. Вон как мечется Дарья по затопляемому острову: почему при мне это должно случиться, на мне все оборваться?!

Но ведь это всего лишь прошлое уходит под воду. А уже невыносимо, смысл человеческого существования под вопросом.

А если сам «мостик» обрушится? Без которого ни прошлого, ни будущего!

Сегодня особенно ощутима вся истина: без прошлого человек не весь, без устремленности в будущее человеку невозможно, но главный смысл человеческого существования все-таки в том, чтобы вечно продолжалось настоящее — жил и продолжался человек. Смысл жизни — в самой жизни прежде всего. Ведь действительно может так оказаться, что человек — единственное во Вселенной существо, через которое материя видит себя со стороны, сознает свое существование и спрашивает, спрашивает — о смысле и целях собственного бытия! Единственное, а других нет и не будет...

А это зачем? — можно спросить.— Зачем, чтобы спрашивала?

Послушаемся Константина Эдуардовича, обождем миллиарды миллиардов годиков и узнаем ответы на все «зачем». Ведь у нас вон сколько времени в запасе — если в погоне за ближайшими целями не упустим главную, не «оборвем цепь», если не позволим, чтобы при нас и на нас оборвалось...

* * *

Эстетическое родство «деревенской» и «военной» прозы особенно заметно по военным повестям «деревенщиков» — Виктора Астафьева, Евгения Носова, Валентина Распутина. «Пастух и пастушка», «Усвятские шлемоносцы», «Живи и помни» — за этой прозой, конечно же, просматривается опыт всей нашей «военной» литературы 60-х и

70-х годов. Но связь с «военной» литературой у этих писателей не напрямую, а через поиски, стилистику «деревенской» прозы. Особенно у Евгения Носова. Его «Шлемоносцы» — это как бы сама «деревенская» проза, вспоминающая про войну, про мысли, ощущения деревни и крестьянина тех лет. Деревенского народа тех лет, русского народа. (А по пути вспомнившая и Васю Теркина... Интонация поэмы Твардовского, трансформированная, конечно, очень заметна — прежде всего в лирическом юморе Носова.)

Как и встарь, крестьянская Россия позвана была подпереть ревущий от техники фронт — плечом, кровью своей приостановить врага. Есть в повести Евгения Носова определенные издержки стилизации. Можно даже резче сказать: любовь к деревенскому люду порой переходит в пейзанство — любование всем на каждом шагу и в каждом слове, смакование всего и вся. При всем при том — это проза талантливая, многими качествами вписывающаяся в контекст нашей литературы об Отечественной войне. Лирическим языком «деревенской» прозы в «Усвятских шлемоносцах» рассказана и сказана необходимая нашему времени правда о минувшей войне, достаточно жестокая и суровая.

Навстречу огненному валу фронта катятся по всем дорогам и перекресткам русские мужики-колхозники, а назад пойдут-полетят похоронки, но по-иному не мог народ, когда над Родиной смертельная опасность. На телеге упившийся новобранец Кузьма, очнулся, протрезвел и даже слишком:

«— Где едем, батя?

— Далече уже, служивый. По Верхам едем.

— Ну-у? не поверил Кузьма,— Вот это дак дали!

— Кто давал, а кто нахрапывал. Чего хоть во снах видел?

— А-а, всякую хреновину. Тот мордатый лектор приснился. Помнишь, который все брехал: попрут, попрут на чужой тератории бить будут.

— А и попрут! — кивнул картузом дедушко Селиван, пришлепывая лошадей вожжами.

— А чего же не прут? — Кузьма сплюнул клубок вязкой слюны за телегу,—Так поперли, аж сами на тыщу верст отлетели. Подавай только ноги. То отдали, это бросили. Сколь ишо отдавать да бросать? Чего ж доси не прут?

— Ну дак ежли не поперли,— передернул плечами Селиван,— стало быть, нечем. Нечем, дак и не попрешь. Не подстрелишь — не отеребишь.

— Ага! Нечем!— усмехнулся Кузьма — Еще и не воевали, а уже и нечем! А где ж она, та-то главная армия, про которую очкастый брехал? Где? — И Кузьма, сморщив нос, гуняво передразнил:— «Погодите, товарищи, главные наши силы ишо не подошли». Дак чего ж не подходят — вторая неделя пошла?

— Ты чего зевло этак-то разеваешь? Аж потроха дурные видать. Я тебе не фельдмаршал и сраженьев не проигрывал, чтоб с меня взыскивать. Ты пойди да вон на командира и пошуми. А он послушает, какой ты разумный.

— А меня стращать теперь нечего,— огрызнулся Кузьма и сумрачно уставился на лейтенанта, маячившего впереди поверх колонны — Дальше фронта не зашлют.

— А на то я тебе так скажу,— дедушко Селиван, обернувшись, кивнул картузом в сторону мужиков.— Вон она топает, главная-то армия! Шуряк твой Давыдко, да Матвейко Лобов, да Алексей с Афанасием... А другой больше армии нету. И ждать неоткуда...

— Чего это за армия? Капля с мокрого носу.

— Э-э! Малый! — задребезжал несогласным смешком дедушко Селиван — Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье сбирается. Нас тут капля, да глянь туды, за речку, вишь, народишко по столбам идет? Вот и другая капля. Да звон впереди, дивись-ка, мосток переходят — третья. Да уже Никольские прошли, разметненские... Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия!»[1]

Да, главная армия! И это не всего лишь громкие слова, а истинная и даже горькая правда тех кровавых лет. И на оккупированной территории Белоруссии было то же самое. Воевал народ. Притом — от мала до велика. Кровью истекал народ. И не удивительно, что литература наша, как русская, так и белорусская, украинская, молдавская, литовская и др., стремится, и все настойчивее, заглянуть в самую «середку» — как бы раздвинув «толпу», «массу», литература пытается увидеть и показать: а что там происходило, в самой гуще народной?! В душах людей из массы...

Фашисты именовали эту среду «биологическим потенциалом врага» и всеми средствами старались его истощить, ослабить. Наши публицисты называли этих людей партизанским резервом, активным партизанским тылом. Сегодня литература все более пристально

---

[1] Носов Е. Усвятские шлемоносцы: Повесть, рассказы.— Воронеж, 1977, с. 199—200.

всматривается именно в их память и трагический опыт — мужчин, женщин, детей из партизанских и «непартизанских» деревень.

Иван Чигринов решился писать многотомную хронику о жизни в условиях оккупации, о «войне» и о «мире» одной-единственной деревни. Опасности и трудности его подстерегали и подстерегают немалые, не все он преодолел и, видимо, не все сможет преодолеть. Но что такой замысел возник, осуществляется, что критика приняла его, а читатель романы такие воспринимает — говорит о многом. Значит, действительно «война» и «мир», «война» и «деревня» в наших произведениях снова пошли на сближение.

Думается, что скорее всего на этом пути ожидает нашу литературу тот синтез, о котором критика давно хлопочет. Сопрягать «окоп» и «ставки» — это не самое сложное, трудное. Куда сложнее и, главное, перспективнее для «военной» литературы, больше ей дает и обещает сближение с открытиями, прорывами в народную жизнь, в душу народа, которые совершила «деревенская» проза.

У нас, у белорусов, есть и своя традиция такого совмещения «войны» и «мира» в произведениях о Великой Отечественной.

Традиция эта — прежде всего в романах Кузьмы Чорного, созданных в годы войны: «Млечный Путь», «Поиски будущего», «Великий день». Об этом подробно говорится в книжке о Кузьме Чорном, которую в 1977 году в переводе с белорусского издала «Художественная литература».

Позволю себе повторить некоторые свои мысли:

«Может быть, ни в одном своем произведении К. Чорный не смог так опоэтизировать само звание человека, как это сделал он в образах «маленькой Волечки» и Кастуся в «Поисках будущего». Потому что само время требовало этого от писателя, жестокое время, когда над будущим человечества висела черная тень фашизма. Да, все это есть, существует,— фашизм, собственничество, жестокость, невинная кровь и страдания, но все равно человек утверждает и утвердит свою победу над этим. Человек — вот что он такое! — как бы говорит своими романами военного времени К. Чорный, изображая прекрасную галерею людей из народа. Все мысли, чувства его рвутся к, тому уголку земли, где «поблизости слышны в разговорах названия городов Несвиж и Слуцк». И это так понятно: чтобы любить всю землю, нужно любить всей своей памятью какую-то частичку ее, какой-то угол на ней, чтобы любить людей, человека, нужно какого-то реального, живого поселить в своем сердце».

Глядя туда, где остались родина и его детство, К. Чорный видит человека особенно прекрасным и чистым.

Люди, которых помнит, любит к. Чорный и глазами которых он видит и оценивает человека,—простые и искренние люди труда: о них К. Чорный писал всю жизнь, их открыто поэтизирует он в романе «Поиски будущего».

Герои романа «Поиски будущего» — дети Волечка и Кастусь, а также крестьяне, среди которых они живут. Это трудолюбивые, добрые, наивные и искренние жители белорусской деревни Сумличи. Привязанность к этим людям, которая так щедро обнаруживается в романе, не делает его, однако, сентиментальным и не портит его. Потому что за авторской привязанностью, за его тонкой и мудрой улыбкой мы все время ощущаем глубокое и напряженное раздумье над судьбой человека и человечества на земле.

Улыбка, которой освещены лучшие страницы романа (вся первая половина),— это улыбка тихой человеческой радости за человека. Нестерпимая боль, страдание от всего, что делается на захваченной фашистами родной земле, и рядом, тут же — такая вот тихая улыбка.

Потому что было и остается вопреки всему злому на земле вот что: чистота и правдивость детства — неисчерпаемый источник человеческой искренности и чистоты. И так все просто, так все понятно каждому и вечно то, что происходит в душах Волечки, Кастуся, сумличан.

А происходит вот что.

Беженская судьба привела мальчика Кастуся в чужую деревню (время действия — первая мировая война). Появился он тут странно, необычно: сидя на гробу. Он вез умершего в дороге отца. На другом краю гроба сидел — на удивление сумличанам — пленный немецкий солдат. Сзади шел русский солдат-конвоир.

«Паренек соскочил с воза и скомандовал:

— Принесите лопаты!

Вид у него был такой, словно он был большой специалист хоронить покойников таким образом».

Слишком быстро повзрослевшие дети!.. Сколько горьких и прекрасных страниц посвятил им за свою жизнь К. Чорный: «Быльниковы межи», «Иди, иди», «Третье поколение», «Иринка», произведения времен Отечественной войны... Это лейтмотив всего его творчества — дети, у которых отобрали детство (а в военных романах — еще и родители, у которых отобрали детство их детей).

И все же поэма (иначе и называть не хочется) о Волечке и Кастусе не только об украденном детстве. И даже не об этом прежде всего. Не страдальческие, «старческие морщины» на душах своих героев-детей видит К. Чорный в сценах с Волечкой и Кастусём, а как

раз поэзию детской непосредственности. Стойкость и живучесть непосредственности, искренности не только в самих детях, но и в крестьянах-сумличанах, в веселом, разговорчивом фельдшере показывает и поэтизирует К. Чорный.

Герои К. Чорного с их, казалось бы, очень простенькой, но зато и вечной мечтой о человеческой жизни — наши настоящие современники в этом грозном и новом мире. «Так все и допытывали меня — не имею ли я намерение пустить на ветер целое государство!..— говорит Невада — отец Волечки.— Побойтесь, говорю, бога! Пособирайте вы, говорю, золото со всего света, сделайте из него трон, посадите на него меня управлять половиной мира, а чтобы весь мир выхвалял меня, так я буду просить и молить вас: отпустите, пожалуйста, дайте мне счастье сползти с этого трона: я столько лет ржи не сеял, кола даже не затесал, в кузне коня не ковал, в мельнице муки не молол, пашни не нюхал, сапог не мазал, щи не хлебал, не наслушался вволю, как петухи поют, как люди по-людски говорят»[1].

Когда Янка Брыль после работы над записями народной памяти о хатынских ужасах и муках обратился к давнишнему и совсем иному материалу, накопленному в его богатейших записных книжках, и создал «Нижние Байдуны» — самую, пожалуй, веселую белорусскую книгу прозы о деревне и крестьянах, это был более чем закономерный «контрапункт» в творческой биографии писателя: от «ожога» хатынской памятью талант спасался в вечных волнах крестьянского смеха, народного оптимизма.

Но переход был закономерным и для самой литературы белорусской, в которой есть мощная традиция вот этой «чорновской», «коласовской» веры в то, что все «гаючыя крыніцы» (целебные источники) там, «где твой народ»!

Снова и снова критика задается вопросом: где тот путь к синтезу, который откроет современной литературе об Отечественной войне новые пути и возможности?

Мне лично кажется, что «военной» литературе пути эти сегодня подсказывает именно «деревенская» проза — к этой мысли приводит нас сопоставительное изучение самых мощных ветвей современной советской прозы — «военной» и «деревенской».

Повесть В. Кондратьева «Сашка» — особенно интересный пример «военной» литературы, где характернейшие черты исповедальной прозы о войне, новаторски заявившей о себе во второй половине 50-х и в 60-е годы, дополнены и обогащены качествами, утверждаемыми и

---

[1] Адамович А. Кузьма Чорный: Уроки творчества.— М., 1977, с. 172—174, 181.

нынешней «деревенской» прозой. Мы имеем в виду подчеркнуто народную оценку — нравственную, житейскую, языковую — всего, что происходит с людьми, с жизнью, с самим героем. Вот почему «Сашка» — казалось бы, произведение, которое лишь повторяет прозу конца 50-х — начала 60-х годов,— так свежо и необычно прозвучало для современного читателя. Не оттого ли, что «деревенская» проза разбудила в читателе интерес особенный именно к такой интонации, таким краскам — языковым, психологическим...

В какое новое качество, состояние перерастет «военная» литература, опираясь на достижения «деревенской», на открытые ею новые источники народных чувств, мыслей, языка — покажет время.

Но синтез следует искать в этом направлении. Мне так кажется. Ничего, кроме бессилия и претензий, не демонстрирует сегодня та литература, которая без устали тянется, становясь на цыпочки, чтобы, обходя реальные, «горячие» проблемы живой современности, народной жизни, напрямую дотянуться до толстовской эпопеи «Война и мир».

Но не о простом «суммировании» опыта «военной» и «деревенской» литератур идет речь, а о помножении, о возведении в степень...

Долгое время именно «военная» проза была средоточием, важнейшим источником идейно-художественных, нравственно-философских и психологических открытий для всей советской литературы. И «деревенская» проза зарождалась и начинала свой победный путь, опираясь на «военную». И она тоже из «шинели» вышла.

Наступило время возвращать долги.

СОДЕРЖАНИЕ